

Л е в

МСМХСІХ

О

С

е

В

стихо-
творения
из
четырёх
книг





R99

ЛЕВ ЛОСЕВ

**СТИХО-
ТВОРЕНИЯ
ИЗ
ЧЕТЫРЕХ
КНИГ**

**Пушкинский фонд
Санкт-Петербург
МСМХСІХ**

Л 79
ББК 84. Р7

Художник книги
Георгий Ковенчук

Марка издательства работы
Сергея Семенова

ОТ АВТОРА

Я родился (в 1937 году) и вырос в Ленинграде, закончил отделение журналистики филологического факультета ЛГУ. Немного поработал в газете на севере Сахалина, а потом, с 1962 до 1975 года, редактором в детском журнале «Костер». Писал пьесы для кукольного театра, стихи для детей и тому подобное. Чтобы нас не путали, мой отец, известный детский писатель и поэт Владимир Лифшиц, придумал мне псевдоним «Лосев». После переезда в Америку в 1976 году я сделал бывший псевдоним своим паспортным именем (Lev Lifschutz Loseff).

В США я работал наборщиком- корректором в издательстве «Ардис», закончил аспирантуру Мичиганского университета и с 1979 года преподаю русскую литературу в Дартмутском колледже на севере Новой Англии. Написал книгу об эзоповом языке в советской литературе и много статей.

Лирические стихи я писал в студенческие годы, но сомневался в их самостоятельности и бросил. Начал писать снова, неожиданно для себя, в 1974 году, а с 1979 года печататься, сначала в эмигрантских изданиях, а с 1988 года и в России.

Для этого сборника стихи выбраны из четырех книг: «Чудесный десант» (США, издательство «Эрмитаж», 1985), «Тайный советник» (там же, 1987), «Новые сведения о Карле и Кларе» (Петербург, издательство «Пушкинский фонд», 1996) и «Послесловие» (там же, 1998).

23 июля 1999

ИЗ КНИГИ

«Удестский десант»

19 **85**

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНС

Юзу Алешковскому

Не слышно шуму городского.
В заневских башнях тишина!
Ф. Глинка

Над невской башней тишина.
Она опять позолотела.
Вот едет женщина одна.
Она опять подзалетела.

Все отражает лунный лик,
воспетый сонмищем поэтов, —
не только часового штык,
но много колющих предметов.

Блеснет Адмиралтейства шприц,
и местная анестезия
вмиг проморозит до границ
то место, где была Россия.

Окоченение к лицу
не только в чреве недоноску,
но и его недоотцу,
с утра упившемуся в доску.

Подходит недорождество,
мертво от недостатка елок.
В стране пустых небес и полок
уж не родится ничего.

Мелькает мертвый Летний сад.
Вот едет женщина назад.
Ее искусаны уста.
И башня невская пуста.

РОТА ЭРОТА

Нас умолял полковник наш, бурбон,
пропахший коньяком и сапогами,
не разлеплять любви бутон
нетерпеливыми руками.
А ты не слышал разве, блядь, —
не разлеплять.

Солдаты уходили в самовол
и возвращались, гадостью налившись,
в шатер, где спал, как Соломон,
гранатометчик Лева Лифшиц.
В полста ноздрей сопели мы —
он пел псалмы.

«В ландшафте сна деревья завиты,
вытягивается водокачки шея,
две безымянных высоты,
в цветочках узкая траншея».
Полковник головой кивал:
бряцай, кимвал!

И он бряцал: «Уста — гранаты, мед —
ее слова. Но в них сокрыто жало...»
И то, что он вставлял в гранатомет,
летело вдаль, но цель не поражало.

РАЗГОВОР С НЬЮЙОРКСКИМ ПОЭТОМ

Парень был с небольшим приветом.
Он спросил, улыбаясь при этом:
«Вы куда поедете летом?»

— Только вам. Как поэт поэту.
Я в родной свой город поеду.
Там источник родимой речи.
Он построен на месте встречи
Элефанта с собакой Моськой.
Туда дамы ездят на грязи.
Он прекрасно описан в рассказе
А. П. Чехова «Дама с авоськой».

Я возьму свой паспорт еврейский.
Сяду я в самолет корейский.
Осеню себя знаком креста —
и с размаху в родные места!

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Где некий храм струился в небеса,
теперь там головешки, кучки кала
и узкая канала полоса,
где Вытегра когда-то вытекала
из озера. Тихонечко басы,
ползет буксир. Накрапывает дрема.
Последняя на область колбаса
повисла на шесте аэродрома.
Пилот уже с утра залил глаза
и дрыхнет, завернувшись в плащ-палатку.
Сегодня нам не улететь. Коза
общипывает взлетную площадку.
Спроси пилота, ну зачем он пьет,
он ничего ответить не сумеет.
Ну, дождик. Отменяется полет.
Ну, дождик сеет. Ну, коза не блеет.

Коза молчит и думает свое,
и взглядом, пожелтелым от люцерны,
она низводит наземь воронье,
освобождая небеса от скверны,
и тут же превращает птичью рать
в немых пэтэушников команду.
Их тянет на пожарище пожрать,
пожарить девок, потравить баланду.
Как много их шагает сквозь туман,
бутылки под шинелками припрятав,
как много среди юных россиян
страдающих поносом геростратов.

Кто в этом нас посмеет укорить —
что погорели, не дойдя до цели.

Пилот проснулся. Хочется курить.
Есть «беломор». Но спички отсырели.

М

М-М-М-М-М-М — кирпичный скалозуб
над деснами под цвет мясного фарша
несвежего. Под звуки полумарша
над главным трупом ходит полутруп.

Ну, Капельдудкин, что же ты, валяй,
чтоб застучали под асфальтом кости —
котлетка Сталина, протухшая от злости,
Калинычи и прочий де-воляй.

М-М-М-М-М-М — кремлевская стена,
морока и московское мычанье.
Милиционер мне сделал замечанье,
что, мол, негоже облегчаться на

траву вблизи бессмертной мостовой,
где Ленина видал любой булыжник.
Сказал, что оскорбляю чувства ближних.
Но не забрал гуманный постовой.

Конечно, праздник — пьянка и расход:
летят шары, надуты перегаром,
и вся Москва под красным пеньюаром
корячится. Но это же раз в год.

На девушек одних в такие дни
уходит масса кумача и ваты,
и у парней, рыжи и кудреваты,
прически вылезают из мотни.

Раз в год даешь разгул, доступный всем.
Ура, бумажный розан демонстраций.
Но вот уж демон власти, рад стараться,
усталым зажигает букву М.

Вот город. Вот портреты в пиджаках.
Вот улица. Вот нищие жилища.

Желудком не удержанная пища.
Лучинки в леденцовых петушках.

Вот женщина стоит — подобье тумбы
афишной и снаружи и внутри,
и до утра к ней прислонились три
пигмея из мучилища Лумумбы.

И

ВАЛЕРИК

Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь...

А. С. Пушкин

Вот ручка — не пишет, холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там — даешь трудодней?

Пока мы стояли в Кабуле,
почти до конца декабря,
ребята на город тянули,
но я так считаю, что зря.

Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
стоят, как надрочены, эти,
ну, как их, минет не минет...

Трясутся на них «муэдзины»
не хуже твоих мандавох...
Зато шашлыки, магазины —
ну, нет, городишко не плох.

Отличные, кстати, базары.
Мы как с отделенным пойдем,
возьмем у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом,

и так они тянутся, тезка,
кури хоть две пачки подряд.
Но тут началась переброска
дивизии нашей в Герат.

И надо же как не поперло:
с какой-то берданки, с говна
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул — и хана.

Машина мотнулась направо.
Я влево подался, в кювет.
А тут косорылых орава,
втащили в кусты и привет.

Фуражку, фуфайку забрали.
Ну, думаю, точка, отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я очень сначала блажил.

Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделенный кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.



Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.
Пел цыган. Абрамович пиликал.
И, тоскуя под них, горемыкал,
заливал ретивое народ
(переживший монгольское иго,
пяtilетки, падение ера,
сербской грамоты чуждый навал;
где-то польская зрела интрига,
и под звуки падепатинера
Меттерних против нас танцевал;
под асфальтом все те же ухабы;
Пушкин даром пропал, из-за бабы;
Достоевский бормочет: бобок;
Сталин был нехороший, он в ссылке
не делил с корешами посылки
и один персонально ушел).
Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка —
не пропить, так хоть ворот рвануть.

ПАМЯТИ МОСКВЫ

Длиннорукая самка, судейский примат.
По бокам заседают диамат и истмат.
Суд закрыт и заплечен.

В гальванической ванне кремлевский кадавр
потребляет на завтрак дефицитный кавьяр,
растворимую печень.

В исторический данный текущий момент
весь на пломбы охране истрачен цемент,
прикупить нету денег.

Потому и застыл этот башенный кран.
Недостройка. Плакат
«Пролетарий всех стран, не вставай с четверенок!»

ПАМЯТИ ПСКОВА

Когда они ввели налог на воздух
и начались в стране процессы йогов,
умеющих задерживать дыхание
с намерением расстроить госбюджет,
я, в должности инспектора налогов
натрясшийся на газиках совхозных
(в ведомостях блокноты со стихами),
торчал в райцентре, где меня уж нет.

Была суббота. Город был в крестьянах.
Прошелся дождик и куда-то вышел.
Давали пиво в первом гастрономе,
и я сказал адье ведомостям.
Я отстоял свое и тоже выпил,
не то чтобы особо экономя,
но вообще немного было пьяных:
росли грибы с глазами там и сям.

Вооружившись бубликом и Фетом,
я сел на скате у Гремячей башни.
Река между Успеньем и Зачатьем
несла свои дрожащие огни.
Иной ко мне подсаживался бражник,
но, зная отвращение к поэтам
в моем народе, что я мог сказать им?
И я им говорил: «А ну дыхни».



«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», — говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаяясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копы
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостоппе
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

И мы вознеслись и ушли,
растаяли в гаснущем небе.
Внизу фонарей патрули
в Ульяновке, Гражданке, Энтеббе.

И тлеет полночи потом
прощальной полоской заката
подорванный нами понтон
на отмели подле Кронштадта.

ПРОДЛЕННЫЙ ДЕНЬ И ДРУГИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ

На острове, хранящем имена
увечных девочек из княжеского рода,
в те незабвенные для сердца времена
всегда стояла теплая погода.

Нина Мохова

I

Я ясно вижу дачу и шиповник,
забор, калитку, ржавчину замка,
сатиновые складки шаровар,
за дерево хватаюсь, суевер.
Я ясно вижу — злится самовар,
как царь или какой-то офицер,
еловых шишек скушавший полковник
в султানে лилового дымка.
Так близко — только руку протяни,
но зрелище порой невыносимо:
еще одна позорная Цусима,
японский флаг вчерашней простыни.

А на крыльце красивый человек
пьет чай в гостях, не пробуя варенья,
и говорит слова: «Всечеловек...
Арийца возлюби... еврей еврея...
Отсюда шаг один лишь, но куда?
До царства Божия? до адской диктатуры?»

Теперь опять зима и холода.
Оленей гонят хмурые каюры
в учебнике (стр. 23).
«Суп на плите, картошку сам свари».

Суп греется. Картошечка варится.
И опера по радио опять.
Я ясно слышу, что поют — арийцы,
но арии слова не разобрать.

II

Продленный день для стриженных голов
за частоколом двоек и колов,
там, за кордоном отнятых рогаток,
не так уж гадок.

Есть много средств, чтоб уберечь тепло,
помимо ваты в окнах и замазки.
Неясно, как сквозь темное стекло,
я вижу путешествие указки
вниз, по маршруту перелетных птиц,
под взглядами лентяев и тупиц.
На юг, на юг, на юг, на юг, на юг.
Оно надежней, чем двойные рамы.
Напрасно академия наук
нам посылает вслед радиogramмы.
«Я полагаю, доктор Ливингстон?»
В ответ счастливый стон.

Края, где календарь без января,
где прикрывают срам листочком рваным,
где существуют, обезьян варя,
рассовывая фиги по карманам.
Мы обруселых немцев имена
подарим этим островам счастливым,
засим вернемся в город над заливом —
есть карта полушарий у меня.

Вот желтый крейсер с мачтой золотой
посередине северной столицы.
В кают-компани трубочный застой.
Кругом висят портреты пустолицы.
То есть уже готовы для мальчика
осанка, эполет под бакенбардом,
история побед над Бонапартом
в союзе с Нельсоном и дырка для лица.

Посвистывает боцман-троглодит.
На баке кок толкует с денщиками.
Со всех портретов на меня глядит
очкастый мальчик с толстыми щеками.

III

Евгений Шварц пугливым юморком
еще щекочет глотки и ладоши,
а кто-то с гардеробным номерком
уже несется получить галоши.
И вот стоит, закутан до бровей,
ждет тройку у Михайловского замка,
в кармане никнет скомканный трофей —
конфетный фантик, белая программка.

Опущен занавес. Погашен свет.
Смыт грим. Повешены кудель и пакля
на гвоздик до вечернего спектакля.
В театре хорошо, когда нас нет.
Герой, в итоге победивший зло,
бредет в буфет, талончик отрывая.
А нам сегодня крупно повезло:
мы очень скоро дождались трамвая.

Вот красный надвигается дракон,
горят во лбу два разноцветных глаза.
И долго-долго, до проспекта Газа,
нас будет пережевывать вагон.

IV

.
.
.
.
.
.
.
.

...в «Костре» работал. В этом тусклом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немислимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.
Все это были рыбки на меху
бессмыслицы, помноженной на вялость,
но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось.

Стоял мороз. В Таврическом саду
закат был желт, и снег под ним был розов.
О чем они болтали на ходу,
подслушивал недремлющий Морозов,
тот самый Павлик, сотворивший зло.
С фанерного портрета пионера
от холода оттрескалась фанера,
но было им тепло.

И время шло.

И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.

VI

Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом труляля,
я в то же время погружался взглядом
в мерцающую грудь хрустала,
нависшую застывшим водопадом:
там умирал последний огонек,
и я его спасти уже не мог.

На сцене барин корчил мужика,
тряслась кулиса, лампочка мигала,
и музыка, как будто мы — зека,
командовала нами, помыкала,
на сцене дама руки изломала,
она в ушах производила звон,
она производила в душах шмон
и острые предметы изымала.

Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.
Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет.
Хрусталь — фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы
пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!»,
и солнце гладит бархатные шторы.

Там, за окном, в Михайловском саду
лишь снегири в суворовских мундирах,
два льва при них гуляют в командирах

с нашлепкой снега — здесь и на заду.
А дальше — заторошена Нева,
Карелия и Баренцева лужа,
откуда к нам приходит эта стужа,
что нашего основа естества.
Все, как задумал медный наш творец, —
у нас чем холоднее, тем интимней,
когда растаял Ледяной дворец,
мы навсегда другой воздвигли — Зимний.

И все же, откровенно говоря,
от оперного мерного прибора
мне кажется порою с перепоя —
нужны России теплые моря!

ПОДПИСИ К ВИДЕННЫМ В ДЕТСТВЕ КАРТИНКАМ

1

Молился, чтоб Всевышний даровал
до вечера добраться до привала,
но вот он взобрался на перевал,
а спуска вниз как бы и не бывало.

Художник хмурый награвировал
верхушки сосен в глубине провала,
вот валунов одетый снегом вал
там, где вчера лавина пиновала.

Летел снег вниз, летели мысли вспять,
в сон сенбернар вошел вразвалку с неким
питьем, чтоб было слаще засыпать
и крепче спать засыпанному снегом.

2

Болотный мох и бочажки с водой
расхристанный валежник охраняет,
и христианства будущий святой
застыл и кустах и арбалет роняет.

Он даже приоткрыл слегка уста,
трет лоб рукой, глазам своим не веря,
увидев воссияние креста
между рогов доверчивого зверя.

А как гравер изображает свет?
Тем, что вокруг снованье и слоенье
штрихов, а самый свет и крест — лишь след
отсутствия его прикосновенья.

Штрих — слишком накренился этот бриг.
 Разодран парус. Скалы слишком близки.
 Мрак. Шторм. Ветр. Дождь. И слишком близко брег,
 где водоросли, валуны и брызги.

Штрих — мрак. Штрих — шторм. Штрих — дождь.
 Штрих — ветра вой.

Крут крен. Крут брег. Все скалы слишком круты.
 Лишь крошечный кружочек световой —
 иллюминатор кормовой каюты.

Там крошечный нам виден пассажир,
 он словно ничего не замечает,
 он пред собою книгу положил,
 она лежит, и он ее читает.

Змей, кольцами свивавшийся в дыре,
 и тело, переплетшееся с телом, —
 гравер, не поспевавший за Доре,
 должно быть, слишком твердыми их сделал.

Крути картинку, сам перевернись,
 но в том-то и загадочность спирали,
 что не поймешь — ее спирали вниз
 иль вверх ее могуче распирали.

Куда, художник, ты подзалетел —
 что верх да низ! когда пружинит звонко
 клубок переплетенных этих тел,
 виток небес и адская воронка.

Мороз на стеклах и в каналах лед,
 автомобили кашляют простудно,

последнее тепло Европа шлет
в свой крайний город, за которым тундра.

Здесь конькобежцев в сумерках едва
спасает городское освещение.
Все знают — накануне Рождества
опасные возможны посещения.

Куст роз преобразается в куст льда,
а под окном, по краешку гравюры,
олений гонят хмурые каюры.

Когда-нибудь я возвращусь туда.



Характерная особенность натюрмортов петербургской школы состоит в том, что все они остались неоконченными.

Путеводитель

Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеленый. Мало свету из окна, вот и лепишь ты, мудила, цвет бутылки, цвет сукна армейского мундира. Ну, не ехать же на юг. Это надо сколько денег. Ни художеств, ни наук мы не академик. Пусть Иванов и Щедрин пишут миртовые роци. Мы сегодня нахустрим чего-нибудь попроще. Васька, где ты там жива! Сбегай в лавочку, Васена, натюрморт рубля на два в долг забрать до пенсии. От Невы неверен свет. Свечка. Отсветы печурки. Это, почитай, что нет. Нет света в Петербурге. Не отпить ли чутку лишь нам из натюрморта... Что ты, Васька, там скулишь, чухонская морда. Зелень, темень. Никак ночь опять накатила. Остается неоконч Еще одна картина Графин, графлений угольком, граненой рюмочки коснулся знать художник под хмельком заснул не проснулся

Л. Лосев (1937-?). НАТЮРМОРТ
Бумага, пиш. маш. Неоконч.

ПУТЕШЕСТВИЕ

1. В прирейнском парке

В. Максимова

Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.

В. Уфлянд

В парке оркестр занялся дележом.
Палочкой машет на них дирижер,
распределяет за нотой ноту:
эту кларнету, а эту фаготу,
эту валторне, а эту трубе,
то, что осталось, туба, тебе.

В парке под сводами грабов и буков,
копятся горы награбленных звуков:
черного вагнера, красного листа,
желтого с медленносонных деревьев —
вы превращаетесь в социалиста,
от изобилия их одурев.

Звуки без смысла. Да это о них же
предупреждал еще, помнится, Ницше:
«Ах, господа, гармоническим шумом
вас обезволят Шуберт и Шуман,
сладкая песня без слов, господа,
вас за собой поведет, но куда?»

В парке под музыку в толпах гуляк
мерно и верно мерцает гулаг,
чешутся руки схватиться за тачку,
в сердце все громче лопаты долбеж.
Что ж ты, душа, за простую подачку
меди гудящей меня продаешь?

2. В амстердамской галерее

К. Верхейлу

В руках у дамы умер веер.
У кавалера умолкла лютня.
Тут и подкрался к ним Вермеер,
тихая сапа, старая плутня.
Свет — но как будто не из окошка.
Европа на карте перемешалась.
Семнадцатый век — но вот эта кошка
утром в отеле моем ошивалась.

Как удлинился мой мир, Вермеер,
я в Оостенде жраал устриц,
видел прелестниц твоих, вернее,
чтения писем твоих искусниц.
Что там в письме, не *memento* ли *mori*?
Все там будем. Но серым светом
с карты Европы бормочет море:
будем не все там, будем не все там.

В зале твоём я застрял, Вермеер,
как бы баркас, проходящий шлюзы.
Мастер спокойный, упрятавший время
в имя свое, словно в складки блузы.
Утро. Обратный билет уже куплен.
Поезд не скоро, в 16.40.
Хлеб надломлен. Бокал пригублен.
Нож протиснут меж нежных створок.

3. В Английском канале

Т. и Д. Чемберс

Опухшее солнце Ла-Манша,
как будто я лишку хватил,
установилось, как атаманша,
гроза коммунальных квартир.

Ну что ты цепляешься к Леше —
я пролил, так я и подтер.
Вон — ванночки, боты, калоши
захламили твой коридор.

Да, правда, нас сильно качает:
то к бару прильни, то отпрянь.
Я слышу начальника чаек
приказы, капризы и брань.

И я узнаю в ледоколе,
бредущем в Клайпеду, домой,
родные черты дяди Коли
с отвислой российской кормой.

Уже начинает смеркаться,
начальник своих разогнал,
а он начинает сморкаться —
о, трубный тоскливый сигнал!

Качается нос его красный,
а сзади, довольный собой,
висит полинялый и грязный
платочек его носовой.

4. У женевского часовщика

С. Маркишу

В Женеве важной, нет, в Женеве нежной,
в Швейцарии вальяжной и смешной,
в Швейцарии, со всей Европой смежной,
в Женеве вежливой, в Швейцарии с мошной,
набитой золотом, коровами, горами,
пластами сыра с каплями росы,
агентами разведок, шулерами,
я вдруг решил: «Куплю себе часы».

Толпа бурлила. Шла перевербовка
сотрудников КЦГРБУ.
Но все разведки я видал в гробу.
Мне бы узнать, какие здесь штамповка,
какие на рубиновых камнях,
водоупорные и в кожаных ремнях.

Вдруг слышу из-под щеточки усов
печальный голос местного еврея:
«Ах, сударь, все, что нужно от часов,
чтоб тикали и говорили время».

«Чтоб тикали и говорили время...
Послушайте, вы это о стихах?»
«Нет, о часах, наручных и карманных...»
«Нет, это о стихах и о романах,
о лирике и прочих пустяках».

5. В нормандской дыре

В. Марамзину

Не в первый раз волны пускались в пляс,
видно, они нанялись бушевать поденно,
и по сей день вижу я смуглый пляж,
плешь в кудельках, седых кудельках Посейдона.

Сей старичок отроду не был трезв,
рот разевает, и видим мы род трезубца,
гонит волну на Довиль, на Дюнкерк, на Брест,
зыбкие руки, руки его трясутся.

Это я помню с детства, с войны: да в рот
этих союзничков, русскою кровью, мать их.
Вот он, polegший на пляжах второй фронт,
о котором мечтали на госпитальных кроватях.

Под пулеметы их храбро привел прилив.
Хитрый туман прикрывал корабли десанта.
Об этом расскажет тот, кто остался жив.
Кто не остался, молчит — вот что досадно.

Их имена, Господи, Ты веши,
сколько песчинок, нам ли их счесть, с размаху
мокрой рукой шлепнет прибой на весы.
В белом кафе ударник рванет рубаху.

В белом кафе на пляже идет гудьба.
Мальчик громит марсиан в упоении грозном.
Вилкой по водке писано: ЖИЗНЬ И СУДЬБА —
пишет в углу подвыпивший мелкий Гроссман.

Третью неделю пьет отпускник, пьет,
видно, он вьет, завивает веревочкой горе.
Бьет барабан. Бьет барабан. Бьет.
Море и смерть. Море и смерть. Море.

6. С собой на память

В. Казаку

Что я вспомню из этих дней и трудов —
с колоколен Кельна воскресную тишь,
некоторое количество немецких городов,
высокое качество остроконечных крыш,
одинокчество, одинокчество, одинокчество, один
день за другим одиноким днем,
наблюдение за почтальоном из-за гардин,
почтовый ящик с рекламкой в нем,
превращение Америки в слово «домой»,
воркотню Би-Би-Си с новостями дня,
отсутствие океана между мной
и местом, где нет меня.

март—август 1984

ТРИНАДЦАТЬ РУССКИХ

Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! — как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, — и вот ты уже в роще,
в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единове́рца,
не разберешь — человек или зверь.
«Е-ё-ю-я», — изъясняется сердце,
а вырывается: «з, ы, в».

Видно, монахи не так разре́зали
азбуку: за буквами тянется тень.
И отражается в озере-езере
осенью-есенью
олень-елень.

БАХТИН В САРАНСКЕ

Капуцинов трескучие четки.
Сарацинов тягучие танцы.
Грубый гогот гог и магог.

«М. Бахтин, — говорили саранцы,
с отвращением глядя в зачетки, —
не ахти какой педагог».

Хотя не был Бахтин суевером,
но он знал, что в костюмчике сером
не студентик зундит, дьяволок:

«На тебя в деканате телега,
а пока вот тебе alter ego —
с этим городом твой диалог».

Мировая столица трахомы.
Обжитые клопами хоромы.
Две-три фабрички. Химкомбинат.

Здесь пузатая мелочь и сволочь
выпускает кислоты и щелочь,
рахитичных разводит щенят.

Здесь от храма распятого Бога
только щебня осталось немного.
В заалтарье бурьян и пырей.

Старый клитор в тоске и запое
возникает, как клитор, в пробое
никуда не ведущих дверей.

Вдоволь здесь погноили картошки,
книг порвали, икон попалили,
походили сюда за нуждой.

Тем вернее из гнили и пыли,
угольков и протлевшей ветошки
образуется здесь перегной.

Свято место не может быть пусто.
Распадаясь, уста златоуста
обращаются в чистый компост.

И протлевшие мертвые зерна
возрождаются там чудотворно,
и росток отправляется в рост.

Непонятный восторг переполнил
Бахтина, и профессор припомнил,
как в дурашливом давешнем сне

Голосовкер стоял с коромыслом.
И внезапно повеяло смыслом
в суете, мельтешенье, возне.

Все сошлось — этот город мордовский.
Глупый пенис, торчащий морковкой.
И звезда. И Вселенная вся.

И от глаз разбегались морщины.
А у двери толкались мордвины,
пересдачи зачета прося.

СЛЕГКА ЗАПЛЕТАЯСЬ

Льется дождь как из ведра.
Бог, рожденный из бедра,
победил меня сегодня
прямо с самого утра.

Не послать ли нам гонца?
Не заклать ли нам тельца?
То есть часть тельца (заклаем?) —
нам всего не съесть тельца.

Раздается странный стук.
Это я кладу в сундук —
то есть я кладу в кастрюлю
кость телячью, плоть и тук.¹

Мой телец кипит, кипит.
Хочется с копыт, с копыт.
Но у нас еще графинчик
абсолютно не допит.

Эй, подать его сюды!
В нем награда за труды:
на две пятых — бог забвенья,
на три пятых — бог воды.²

Примечания

1. Вырываю два листочка из лаврового венца.
2. Смысл стихотворения: в дождливый день автор пьет водку и варит телятину.

P.S. «Бог, рожденный из бедра» — Бахус.

P.P.S. Последние две строки — перифрастическое описание сорокаградусной водки.

ТКАНЬ

(докторская диссертация)

1. Текст значит ткань¹. Расплести по нитке
тряпицу текста.
Разложить по цветам, улавливая оттенки.
Затем объяснить, какой окрашена краской
каждая нитка. Затем — обсуждение ткачества ткани:
устройство веретена, ловкость старухиных
пальцев. 5
Затем — дойти до овец. До погоды в день стрижки.
(Sic) Имя жены пастуха. (NB) Цвет ее глаз.
2. Но не берись расплетать, если сам ты ткач
неискусный,
если ты скверный портной. Пестрядь
перепутанных ниток,
корпия библиотек, ветошка университетов² — 10
кому, Любомудр, это нужно? Прежнюю пряжу
сотки.
Прежний плащ возврати той, что продрогла в углу.
- 2.1. Есть коллеги, что в наших (см. выше) делах
неискусны.
Все, что умеют, — кричать: «Ах, вот нарядное
платье!»
Английское сукнецо! Модный русский покрой!»³ 15
- 2.2. Есть и другие. Они на платье даже не взглянут.
Все, что умеют, — считать миллиметры, чертить
пунктиры.
Выкроек вороха для них дороже, чем ткань.⁴
- 2.3. Есть и другие. Они на государственной службе.⁴
Все, что умеют, — сличать данный наряд с
униформой. 20
Лишний фестончик найдут или карман потайной,
тут уж портняжка держись — выговор, карцер,
расстрел.

Из музыкальной школы звук гобоя дрожал, и лес в ответ дрожал нагой. Я наступил на что-то голубое. Я ощутил бумагу под ногой. Откуда здесь родимой школы ветошь, далекая, как детство и Москва? Цена 12 коп., и марка «Светоч», таблица умноженья, 2x2...

ВЫПИСКИ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Кя. Шаховской-Харя

вечно в опале у государя.
Полжизни — то в Устюге, то в Тобольске.
Видимо, знал по-польски.
Единственный друг — дьяк
Васильев Третьяк.

Полоцкий Симеон

сочинял Рифмологион.
Лучшие рифмы:
похотети — имети
молися — слезися
творити — быти

Евстратий

сочинял в виде рыбки.
Делал ошибки.

Козанский 2-й

при императоре-преобразователе Петре
ввел в России употребление тире (—)
и яблочного пюре.
Умер, тоскуя о вырванной ноздре.

Кантемир (Молдавия)

Латынь! утратив гордые черты,
пристойный вид и строгую осанку,
в неряшливую обратясь славянку,
полуцыганкой — вот чем стала ты.
Не лебедь дивная, а глупая гусыня,
аморе петь забыв, бормочешь *пыня*.

Откидывает с винной кружки крышку,
макает пальцами в баранье сало хлеб,
ледеет долгожданную отрыжку,
бабенку загоняет в скотий хлев.
И пробирает скользкий ходунок
нечесаную хамку между ног.

Андрей Белобочкий

Ах, червячки. Ах, бабочки в траве.
Кудрявые утесы. Водоносы...
Все те, кто знали грамоте в Москве,
писали только вирши да доносы.

Его же столь лелеемый диплом,
полученный в стенах Вальядолида,
для них был точно горькая обида —
ну как тут не прослыть еретиком.

Но тут они хватили через край.
Он получает повышение в чине.
Но тут подводит знание латыни,
и он командирится в Китай

в состав посольства (видимо, Москва
беседует с Пекином на вульгате)...
Запас вина иссяк до Рождества,
но пристрастился к опиуму кстати.

Китайский Рим. Патриции в шелку
в поляке презирают московита.
Посол лютует. Интригует свита.
И надо быть все время начеку.

О Матерь Божия, куда я занесен.
Невольно появляются сомненья
в реальности. «La vida es sueño».
«Жизнь это сон». Как дальше? «Это сон...»

От диареи бел, как молоко,
среди желтых уток белая ворона,
пан Анджей тщится вспомнить Кальдерона.
Испанский забывается легко.

Кантемир (Петербург)

Не натопить холодного дворца.
Имея харю назамен лица,
дурак-лакей шагает, точно цапля,
жемчужна на носу повисла капля.
В покоях вонь: то кухня, то сортир.
Ах, *невозможно не писать сатир.*

Петров

На пегоньком Пегасике верхом
как сладко иамбическим стихом
скакать, потом на землю соскочить,
с поклоном свиток Государыне вручить.

О, Государыня, кротка твоя улыбка,
полнощные полмира озарив,
волшебное, подобное как рыбка,
зашило в твой атласный лиф.

Но Государыня изволила издрать.
Ну что ж, поэт, последний рубль истрать.
Рви волосы на пыльном парике
среди профессоров в дешевом кабаке.

Одописание — опасная привычка,
для русского певца нормальный ход.
Живое и подобное как птичка
за пазухой шинельных од.

Батюшков

Ты мне скажешь — на то и зима,
в декабре только так и бывает.
Но не так ли и сходят с ума,
забывают, себя убивают?

На стекле заполярный пейзаж,
балерин серебристые пачки.
Ах, не так ли и Батюшков наш
погружался в безумие спячки?

Бормотал, что, мол, что-то сгубил,
признавался, что в чем-то виновен.
А мороз, между прочим, дубил,
промораживал стены из бревен.

Замерзало дыханье в груди.
Толстый столб из трубы возносился.
Декоратор Гонзаго, гляди,
разошелся, старик, развозился.

С мутной каплей на красном носу
лез на лесенки, снизу елозил,
и такое устроил в лесу,
что и публику всю поморозил.

Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
в русских хлопьях Психеи и Хлои.

Пушкин

Собираясь в дальнюю дорожку,
жадно ел моченую морошку.
Торопился. Времени в обрез.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги — слишком шаткие ступени.
Что еще? За дверью слезы, пени.
Полно плакать. Приведи детей.
Подведи их под благословенье.

Что еще? Одно стихотворенье.
Пара незаконченных статей.
Не отправленный в печать номер.
Письмецо, что не успел прочесть.
В общем, сделал правильно, что умер.
Все-таки, всего важнее честь.

Ну, вот и все. Я вспоминаю вчуже пустой осенний выморочный день; на берегу большой спокойной лужи, где желтая качалась дребедень, тетрадку, голубевшую уныло, с названием недвусмысленным — «Тетрадь». Быть может, поднимать не нужно было, а, может быть, не стоило терять.

СТИХИ О РОМАНЕ

I

Знаем эти толстовские штучки:
с бородою, окованной льдом,
из недельной московской отлучки
воротиться в нетопленный дом.
«Затопите камин в кабинете.
Вороному задайте пшена.
Принесите мне рюмку вина.
Разбудите меня на рассвете».
Погляжу на морозный туман
и засяду за длинный роман.

Будет холодно в этом романе,
будут главы кончатся: «как вдруг»,
будет кто-то сидеть на диване
и посасывать длинный чубук,
будут ели стоять угловаты,
как стоят мужики на дворе,
и, как мост, небольшое тире
свяжет две недалекие даты
в эпилоге (когда старики
на кладбище придут у реки).

Достоевский еще молодец,
только в нем что-то есть, что-то есть.
«Мало денег, — кричит, — мало денег.
Выиграть тысяч бы пять или шесть.
Мы заплатим долги, и в итоге
будет водка, цыгане, икра.
Ах, какая начнется игра!»
После старец нам бухнется в ноги
и прочтет в наших робких сердцах
слово СТРАХ, слово КРАХ, слово ПРАХ.

Грусть-тоска. Пой, Агаша. Пей, Саша.
Хорошо, что под сердцем сосет...

Только нас описание пейзажа
от такого заоя спасет.
«Красный шар догорал за лесами,
и крепчал, безусловно, мороз,
но овес на окошке пророс...»
Ничего, мы и сами с усами.
Нас не схимник спасет, нелюдим,
лучше в зеркало мы поглядим.

II

Я неизменный Карл Иваныч.
Я ваших чад целую на ночь.
Их географии учу.
Порой одышлив и неряшлив,
я вас бужу, в ночи закашляв,
молясь и дуя на свечу.

Конечно, не большая птица,
но я имею, чем гордиться:
я не блудил, не лгал, не крал,
не убивал — помилуй Боже, —
я не убийца, нет, но все же,
ах, что же ты краснеешь, Карл?

Был в нашем крае некто Шиллер,
он талер у меня зажил.
Была дуэль. Тюрьма. Побег.
Забыв о Шиллере проклятом,
verfluchtes Fatum — стал солдатом —
сражений дым и гром побед.

Там пели, там «ура» вопили,
под липами там пиво пили,
там клали в пряники имбирь.
А здесь, как печень от цирроза,
разбухли бревна от мороза,
на окнах вечная Сибирь.

Гуляет ветер по подклетям.
На именины вашим детям
я клею домик (ни кола
ты не имеешь, старый комик,
и сам не прочь бы в этот домик).
Прошу, взгляните, Nicolas.

Мы внутрь картона вставим свечку
и осторожно чиркнем спичку,
и окон нежная слюда

засветится тепло и смутно,
уютно станет и гемютно,
и это важно, господа!

О, я привью германский гений
к стволам российских сих растений.
Фольга сияет наобум.
Как это славно и толково,
кажись, и младший понял, Лева,
хоть увалень и тугодум.

Далеко, в Стране Негодяев
и неясных, но страстных знаков,
жили-были Шестов, Бердяев,
Розанов, Гершензон, Булгаков.
Бородою в античных сплетнях,
верещал о вещах последних

Вячеслав. Голосок доносился
до мохнатых ушей Гершензона:
«Маловато дионисийства,
буйства, эроса, пляски, озона.
Пыль Палермо в нашем закате».
(Пьяный Блок отдыхал на Кате,

и, достав медальон украдкой,
воздыхал Кузмин, привереда,
над беспомощной русой прядкой
с мускулистой груди правоведа,
а Бурлюк гулял по столице,
как утюг, и с брюквой в петлице.)

Да, в закате над градом Петровым
рыжеватая примесь Мессины,
и под этим багровым покровом
собираются красные силы,
и во всем недостача, нехватка:
с мостовых исчезает брусчатка,
чаю спросишь в трактире — несладко,
в «Речи» что ни строка — опечатка,
и вина не купить без осадка,
и трамвай не ходит, двадцатка,

и трава выползает из трещин
силлурийского тротуара.
Но еще это сонмище женщин
и мужчин пило, флиртвало,

* Петербург, герой «Поэмы Без Героя» Ахматовой.

а за столиком, рядом с эсером,
Мандельштам волхвовал над эклером.

А эсер глядел деловито,
как босая танцовка скакала,
и витал запашок динамита
над прелестной чашкой какао.

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

День, вечер, одеванье, раздеванье —
всё на виду.
Где назначались тайные свиданья —
в лесу? в саду?
Под кустиком в виду мышьиной норки?
à la gitane?
В коляске, натянув на окна шторы?
но как же там?
Как многолюден этот край пустынный!
Укрылся — глядь,
в саду мужик гуляет с хворостиной,
на речке бабы заняты холстиной,
голубка дряхлая с утра торчит в гостинной,
не дремлет, блядь.
О где найти пределы потаенны
на день? на ночь?
Где шпильки вынуть? скинуть панталоны?
где — юбку прочь?
Где не спугнет размеренного счастья
внезапный стук
и хамская ухмылка соучастья
на рожках слуг?
Деревня, говоришь, уединенье?
Нет, брат, шалишь.
Не оттого ли чудное мгновенье
мгновенье лишь?

КЛАССИЧЕСКОЕ

В доме отдыха имени Фавна,
недалече от входа в Аид,
даже время не движется плавно,
а спокойно на месте стоит.

Зимний полдень. Начищен паркет.
Мягкий свет. Отдыхающих нет.

Полыхает в камине полено,
и тихонько туда и сюда
колыхаются два гобелена.
И на левом — картина труда:

жнут жнецы, и ваятель ваяет,
жрут жрецы, Танька ваньку валяет.

А на правом, другом, гобелене
что-то выткано наоборот:
там, на фоне покоя и лени,
я на камне сижу у ворот,

без штанов, только в длинной рубашке,
и к ногам моим жмутся барашки.

«Разберемся в проклятых вопросах,
возбуждают они интерес», —
говорит, опираясь на посох,
мне нетрезвый философ Фалес.

И, с Фалесом на равной ноге,
я ему отвечаю: «Эге».

Это слово — стежок в разговоре,
так иголку втыкают в шитье.
Вот откуда Эгейское море
получило название свое.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

Ах, в старом фильме (в старой фильме)
в окопе бреется солдат,
вокруг другие простофили
свое беззвучное галдят,
ногами шустро ковыляют,
руками быстро ковыряют
и храбро в объектив глядят.

Там, на неведомых дорожках,
следы гаубичных батарей,
мечтающий о курьих ножках
на дрожках беженец еврей,
там день идет таким манером
под флагом черно-бело-серым,
что с каждой серией — серей.

Там русский царь в вагоне чахнет,
играет в секу и в буру.
Там лишь порой беззвучно ахнет
шестидюймовка на юру.
Там за Ольштынской котловиной
Самсонов с деловитой миной
растегивает кобуру.

В том мире сереньком и тихом
лежит Иван — шинель, ружье.
За ним Франсуа, страдаая тиком,
в беззвучном катится пежо.

.
Еще раздастся рев ужасный,
еще мы кровь увидим красной,
еще насмотримся ужо.

ИНСТРУКЦИЯ РИСОВАЛЬЩИКУ ГЕРБОВ

1-й вариант

На фоне щита,
иль таза, иль мелкого блюда,
изображение небольшого верблюда,
застрявшего крепко в игольном ушке,
при этом глядящего на кота, сидящего в черном мешке,
завязанном лентой цвета нимфы, купающейся в пруду,
по коей ленте красивым курсивом надпись:
SCRIPTA MANENT
(лат. «Не легко, но пройду»).

2-й вариант

На постаменте в виде опрокинутой стопки
две большие скобки,
к коим стоят как бы привалившись:
справа — лось сохатый,
слева — лев пархатый;
в скобках вставший на дыбы Лифшиц;
изо рта извивается эзопов язык,
из горла вырывается зык,
хвост прищемлен, на голове лежит корона в виде кепки,
фон: лесорубы рубят лес — в Лифшица летят щепки,
в лапах и копытах путается гвардейская лента
с надписью:
ЗВЕРЕЙ НЕ КОРМИТЬ.

3-й вариант (поскромнее)

Земной шар
в венце из хлебных колосьев,
перевитых лентой;
на поясах
красивым курсивом надпись:
ЛЕВ ЛОСЕВ
на 15-ти языках.

МОСКВИЧИ

1

Дворовая свора бежала куда-то.
Визжала девчонка одна.
«Я их де-фло-ри-ру-ю пиццикато», —
промолвил старик у окна.

Он врал и осекся, трепач этот древний,
московской орды старожил.
Он в комнату выплывшей Анне Андреевне
услужливо стул предложил.

Он к ней обращался с почтительным креном,
он чайничек ей подержал.
Его, побывавший в корзиночке с кремом,
мизинец при этом дрожал.

Он маялся, мальчик шестидесятилетний,
но все же отважился на
рассказ, начиненный последнею сплетней,
и слух не замкнула она.

Он даже заставил ее улыбнуться,
он все-таки ей угодил,
москвич, отдуватель чайнок на блюде,
писатель стишков в «Крокодил».

2

Поникла, чай, моя камелия,
а ежели еще жива,
знать, из метели и похмелья
сидит и вяжет кружева.

Окно черно в вечерних шторах,
там, в аввакумовых просторах,

морозный вакуум и тьма
ей выдается задарма.

Итак, она не растеряла
ни мастерства, ни материала,
в привычных пальцах вьется нить,
ловка пустоты обводит.

Сидит, порою дурь глотает,
и пустоты кругом хватает,
да уменьшается клубок.
И мрак за окнами глубок.

3

Любви, надежды, черта в стуле
недолго тешил нас уют.
Какие книги издаются в Туле!
В Америке таких не издают.

Чу! проскакало крошечное что-то
в той стороне, где теплится душа.
Какая тонкая работа!
Шедевр косога алкаша.

Ах! В сердце самое куснула.
И старый черт таращится со стула,
себе слезы не извиня:
что это — проскочило, промелькнуло,
булатными подковками звеня?

НА РОЖДЕСТВО

Я лягу, взгляд расфокусирую,
звезду в окошке раздвою
и вдруг увижу местность сирую,
сырую родину свою.

Во власти оптика-любителя
не только что раздвой — и сдвой,
а сдвой Сатурна и Юпитера
чреват Рождественской звездой.

Вослед за этой, быстро вытекшей
и высохшей еще скорей,
всходи над Волховом и Вытегрой
звезда волхвов, звезда царей.

.
Звезда взойдет над зданьем станции,
и радио в окне сельпо
программу по заявкам с танцами
прервет растерянно и, по-
медлив малость, как замолится
о пастухах, волхвах, царях,
о коммунистах с комсомольцами,
о сброде пьяниц и нерях.
Слепцы, пророки трепотливые,
отцы, привыкшие к кресту,
как эти строки терпеливые,
бредут по белому листу.
Где розовую промокашкою
в полнеба запад возникал,
туда за их походкой тяжкою
Обводный тянется канал.
Закатом наскоро промокнуты,
слова идут к себе домой
и открывают двери в комнаты,
давно покинутые мной.



И наконец остановка «Кладбище».
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему — он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.

Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж пожалуйста, ты уж уважь.

Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.

Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырек, издеваясь, берет,
что ни даю — ничего не берет.



«Все пряжи рассучились,
опять кудель в руке,
и люди разучились
играть на тростнике.

Мы в наши полимеры
вплетаем клок шерсти,
но эти полумеры
не могут нас спасти...»

Так я, сосуд скудельный,
неправильный овал,
на станции Удельной
сидел и тосковал.

Мне было спрятать негде
души моей дела,
и радуга из нефти
передо мной цвела.

И столько понапортив
и понаделав дел,
я за забор напротив
бессмысленно глядел.

Дышала психбольница,
светились корпуса,
а там мелькали лица,
гуляли голоса,

там пели что придется,
переходя на крик,
и финского болотца
им отвечал тростник.

ПЕСНЯ

В лес пойду дрова рубить,
развлекусь немного.
Если некого любить,
люди любят Бога.

Ах, какая канитель —
любится, не любитя.
Снег скрипит. Сверкает ель.
Что-то мне не рубится.

Это дерево губить
что-то неохота,
ветром по небу трубить —
вот по мне работа.

Он гудит себе гудит,
веточки качает.
На пенечке кто сидит?
Я сидит, скучает.

МЕСТОИМЕНΙΑ

Предательство, которое в крови.
Предать себя, предать свой глаз и палец,
предательство распутников и пьяниц,
но от иного, Боже, сохрани.

Вот мы лежим. Нам плохо. Мы больной.
Душа живет под форточкой отдельно.
Под нами не обычная постель, но
тюфяк-тухляк, больничный перегой.

Чем я, больной, так неприятен мне,
так это тем, что он такой неряха:
на морде пятна супа, пятна страха
и пятна черт чего на простыне.

Еще толчками что-то в нас течет,
когда лежим с озябшими ногами,
и все, что мы за жизнь свою нагали,
теперь нам предъявляет длинный счет.

Но странно и свободно ты живешь
под форточкой, где ветка, снег и птица,
следуя, как умирает эта ложь,
как больно ей и как она боится.

УРОК ФОТОГРАФИИ

В чем дело тут — давайте разберем.
Не в том, что бренны серебро и бром.
Не в выцветшем лице интеллигентном.
А в том, что время светит фонарем.
Или рентгеном.

Смотри — под арматурною стеной
сидит во мне товарищ костяной
и важно отвечает на вопросы
стеклянной водки, кильки жестяной,
бумажной папиросы.

НОЧЬ

Хамоватая самка Прохора
мне садилась задом на грудь,
и внутри что-то ухало, охало,
копошилось, скулило чуть-чуть.
Словно все мои Жучки и Шарики
разбежались, поджав хвосты,
и зудели в крови кошмарики,
над устами тряслись кусты.
Трепетала моя околица,
зарастала моя колея,
что ведет туда, где колотится
опустелая церковь моя.

ИЗ КНИГИ

«Мойный советник»

«Земля же
была безвидна и пуста»*.
В вышеописанном пейзаже
родные узнаю места.

* Бытие 1 : 2

19 **87**

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Смотри, смотри сюда скорей:
над стаей круглых снегирей
заря заходит с козырей —
все красной масти.*

*О, если бы я только мог!
Но я не мог: торчит комок
в гортани, и не будет строк
о свойствах страсти.*

*А есть две жизни как одна.
Стоим с тобою у окна.
А что, не выпить ли вина?
Мне что-то зябко.*

*Мело весь месяц в феврале.
Свеча горела в шевроле.
И на червонном короле
горела шапка.*



Нередко у примитивных народов кораблик помещается на верхушке шеста, водружаемого на крыше... Так имплицитно желание трансцендентального, выхода за пределы бытия, путешествия через пространство к иным мирам.

Х.Э. Сирло

Се возвращается блудливый сукин сын
туда, туда, в страну родных осин,
где племена к востоку от Ильменя
все делят шкуру неубитого пельменя.

Он возвращается, стопы его болят,
вся речь его чужой пропахла речью,
он возвращается, встают ему навстречу
тьма — лес — топь блат.

Его встречают по заморску платью,
его сажают в красные углы.
Он возвращается к любимому занятю —
подсчетам ангелов на острие иглы.

Он всем поведал, что Земля кругла
и некому пробить сей крепкий круг,
вот разве что Комета, сделав крюк,
но вероятность в общем-то мала.

Однажды, начитавшись без лампад,
надергав книжек с полок невпопад,
он вышел прогуляться до угла
и вдруг увидел: вон еще игла.

Там, из пластинки северных небес
игла пила мелодию не без
игривости — романса, что ли? вальса?

И к той иголке, светом залитой,
как прикипел фрегатик золотой,
похоже — только что пришвартовался.

Команду ангелов сумел он увидеть
и сосчитать (их было 25),
на палубе золотого корабля
мелькали крылья, бегали огни,
они вели себя как дети, как пираты.
И думал он, губами шевеля:
«Выходит, вот как выглядят они,
летательные эти аппараты,
так вот где принимает их Земля».

Как ныне собирается вещей Олег
спалить наши села и нивы.
Авось не сберется — уж скоро ночлег,
а русичи знатно ленивы.
Он едет с дружиной, в царьградской броне.
«Эй, Броня, подай мою бороду мне!»

А меч под подушкой будет целей,
меча мне сегодня не надо.
Я выйду из леса, седой лицедей,
скажу командиру отряда:
«Ты опытный воин, великий стратег,
но все ли ты ведаешь, вещей Олег?»

Допустим, я лжив, я безумен и стар,
и ты меня плетью огладишь,
но купишь ты, князь, мой лежалый товар
и мне не деньгами заплатишь.
Собой и потомством заплатишь ты мне,
как я заплатил этой бедной стране,

стране подорожника, пыльных канав,
лесов и степей карусели.
Нам гор и морей не видать, скандинав,
мы оба с тобой обрусели.
Так я предрекаю, обрезанный тюрк».
И тут же из черепа черное — юрк.

«Не дрыгай ногою, пророка кляня,
не бойся, не будет укуса.
Пусть видит змеиное око коня,
что Русы не празднуют труса.
Пусть смотрит истории жалящий взгляд,
как Русы с Хазарами рядом сидят».

* «Песнь Вещему Олегу», посвященная также тысячелетию крещения Руси, Артуру Кёстлеру, Л. Н. Гумилеву, А. С. Пушкину, коню и змее.

У них перемирие, пир, перегар.
Забыты на время раздоры.
Крещеные викинги поят болгар,
обрезанных всадников Торы.
Но полон славянскими лешими лес.
А в небе Стожары. А в поле Велес.

Еще некрещеному небу Стожар
от брани и похоти жарко.
То гойку на койку завалит хазар,
то взвоят под гоем хазарка:
«Ой, батюшки светы, ой, гой ты еси!»
И так заплетаются судьбы Руси.

Тел переплетенье на десять веков
записано дезоксирибо-
нуклеиновой вязью в скрижали белков,
и почерк мой бьется, как рыба:
то вниз да по Волге, то противу прет,
то слева направо, то наоборот.

Я пена по Волге, я рябь на волне,
ивритогибрид-рыбоптица,
А. Пушкин прекрасный кривится во мне,
его отраженья дробится.
Я русский-другой-никакой человек.
Но едет и едет могучий Олег.

Незримый хранитель могучему дан.
Олег усмехается веще.
Он едет и едет, в руке чемодан,
в нем череп и прочие вещи.
Идет вдохновенный кудесник за ним.
Незримый хранитель над ними незрим.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Не пригороды, а причитания: охты, лахты.
После получасового полета
под мост уплывает плевок.

Все, что осталось от гангутского флота, —
дрянный дредноут плавучей гауптвахты
и ресторан-поплавок.

Еще сохранилось два-три причала,
у моряков кривая походка,
у набережных адмиральские имена.

Но в трюме жалобно поплескивает водка,
море окончательно измельчало,
экспедиция отменена.

«Гибель эскадры». «Стерегущий». «Варяг».
Самопотоплением
славятся русские корабли.

Прогноз не побалуует потеплением.
Афиши анонсируют ужасный брак
«Голого короля» и «Снежной королевы».

ВЕНЕЦИЯ

Не Красная площадь

Вот где венецы возвели свой рай,
набивши в вязкий ил корявых свай!
А дома усидевшие славяне,
как видно, крепко дурака сваяли.

Торгаш наторговал, натырил вор,
по нитке с миру возвели собор,
московского еще блаженной Васи,
знать, на вине вольготней, чем на квасе.

Здесь строил Фьораванти, хитрый грек,
на берегах каналов сих и рек,
и как-то легче строил, беззаботней,
но был в Москву заманен длинной сотней.

Зачем же там смастырил он острог,
где дух империи оттягивает срок,
куда въезжают черные машины?
Что думают в них хмурые мужчины?

Что работаг, набивших мозолей,
притягивает в бурый мавзолей?
Злорадство? Или просто близость ГУМа?
Какая их одолевает дума?

...Так размышляя в местностях иных,
как будто впрямь покинув крепостных,
на их хлебах беспечные дворяне,
потягиваем кофе Флориани.

Здесь дивно то, что площадь — край земли,
что вровень с ней проходят корабли,
что горизонт не загорожен зданьем.
Эй, официант, давай, сюда рули,
получишь легковесные нули
деньжонок с поэтическим названьем.

Дождь

Набережные намокли,
капли как-нибудь,
как небрежные монокли
падают на грудь.

То-то волны кольцевидны,
сваи в них весь день,
точно мокрые цилиндры,
малость набекрень.

А большой лагуны сцена
вечно в мельтешне,
там захлестывает пена
белое кашне.

Расстояния матросам
на один плевок.
Толстощеким и курносым
смотрит островок.

Взглядом мертвым и упрямым
(мокр и мертв, и прям)
смотрит в небо мокрый мрамор,
под которым там

бывший кукиш сцене царской,
бедный сибарит,
аки лев венецианский
Дягилев зарыт.

То-то горе — сине море,
черные гробы!
Но гудят, гудят в миноре
в белых две трубы

пароходы местных линий,
воды бороздя.
И длиннее черных пиний
линии дождя.

Мура, но...

Стекло — произведение рта.

Но есть запретная черта.

Переступи ее, попробуй: глядь, и не вышло ни черта.

Поэтому в горячий рот

он трубку длинную берет

и раскаленный шар вздувает то кверху, то наоборот.

Мура, конечно, мишура.

К тому же страшная жара.

К тому же вредная работа, и редки стали мастера.

Овеществленный вздох оно.

Но вот оно отделено.

И вот оно стоит на полке — красиво, но слегка смешно.

РАССКАЗ КОМПОЗИТОРА И. КОЙЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Размышлять, как надолго соседский пацан-онанист
запрется в сортире на этот раз,
дрожать по утрам, как осиновый лист,
не слишком ли громко скрипел матрац,
различать пять чайников по голосам,
платить за кретинов, оставляющих свет,
у соседки угадывать по глазам,
харкала она в суп или нет.
Хватит! не зря я мотался на БАМ,
«Сюиту строителей» творил на века,
за «Едут, едут девчата на бал»
у меня диплом ЦК ВЛК-
СМ и из авторских прав три куска —
я все это вкладываю в ЖСК!

В новой квартире будет у нас благодать.
Бобика переименуем — Рекс.
Перекуем мечи на оральный секс,
т. е. будем трахаться и орать
сколько влезет, за каламбур пардон,
но главное — ванная. Остальное потом.

...и пока моя ванна наливается бурля,
я в системе «Сони» на полный врублю Вивальди,
из серванта достану французский
за двадцать четыре рубля,
сами себе, старички, наваливайте и наливайте.

Я вхожу с полотенцем махровым
и вафельным в кафельный мой сануз.
Подходящее место для жизни — Советский Союз!

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК (по Соловьёву)

Весь день он бегал по делам,
по городу мелькал,
вопрос о сроках подымал,
на суммы намекал.
Издатели — такой народ,
им палец не клади
в рот. Он набегался, но вот
все это позади.
«Теперь в гостиницу скорей», —
подвзвизгнул Appetit.
Еще с порога из дверей
он видит — стол накрыт:
столь нежнорозовый лосось
там напластован наискось,
что об Авроре вспомнилось,
о розовом ее сосце,
блестит под устрицей ледок,
засим на серебре клубок
темно-коричневых миног
в горчичном соусе,
бараний жаркий жирный бок
и спаржи слабый стебелек,
и то, что булочник напек, —
все это вызывает шок,
восторг и дрожь в крестце.

.

Уже бараний съеден бок
и спаржевый гарнир.
«Не ешь так много, Сведенборг», —
в углу проговорил —
кто? Никого в столовой нет,
зал полутемный пуст;
ну разве проскрипит паркет
или раздастся хруст
в камине — это все вдомяк,
в пределах естества,
но нету никого, кто мог
произнести слова,

от коих левый сведен бок
и пропотела плешь:
«Не ешь так много, Сведенборг,
ты слишком много ешь.
Чем жирных уминать миног
подчас зараз по сту,
предайся лучше, куманек,
молитве и посту.
Свидетель Бог, уж виден гроб,
где пляшет бесов рать.
Не ешь так много, Сведенборг,
не нужно столько жрать.
Ты ныне духом нищ, и вот
туда, где тьма и слизь,
к себе в колодец-пищевод
Иосифом свались.
Ты много ел, ты много пил,
ты долго жировал,
на палец сала накопил
желудок, желт и ал.
Свеченье печени в ночи,
как тучи грозовой,
и на проспекте Газа вонь
бензина и мочи.
А уж отсюда близок путь,
минуя стадион,
в слепой отросток заглянуть,
где бредит Родион.
Простится в вышних перепуг,
но сытость не простят.
Ты думал — Лондон, Петербург,
а это просто — ад,
где сатана от лени “Нгррр...”
рокочет вдоль кишок...»

.....
Но тут вошел служитель-негр
и канделябр зажег.
«С утра он не был, вроде, сед,
забавный этот швед».
— Прикажете подать десерт?
Он отвечает:
— Нет.

СОNET

Сомнительный штаб-ротмистр Фет
следит за ласточкой стремительной,
за бабочкой, и мир растительный
его вниманием согрет.

Все это — матерьял строительный,
и можно выстроить сонет,
и из редакции пакет
придет с купюрой убедительной,

и можно выстроить амбар,
а то ведь старый подгнивает.
Читатель, вздувши самовар,

в раздумье чай свой допивает:
«Где этот жид раздобывает
столь восхитительный товар?»

ПАМЯТИ ПОЭТА

Сижу под вечер стихший,
застыл, как идиот,
одно четверостишье
с ума нейдет, нейдет:
*Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненной драмой
Загадочно полна.**

Среди российских скальдов
известен ли К. Льдов?
В завалах книжных складов,
знать, не сыскать следов.
Весь век его невнятен —
атласных канапе
и золотушных пятен,
и Чехова А. П.,
от водочки к боржому
«эпоха малых дел»
(как будто по-большому
никто и не хотел).
Взволнованные речи
и бархатный жилет,
и волосы по плечи,
чтоб знали, что поэт.
Папашины клистиры,
папашин стетоскоп.
А в церкви, где крестили,
все усмеялся поп.
Но Розенблум не хочет
быть Розовым Цветком,
а буква «ль» щекочет
красивым холодком,
и веет грустной сказкой
красивый псевдоним

* Из стихотворения К. Льдова «Швея» (1890)

с оттенком скандинавско-
славянско-ледяным.
Слова он любит — «драма»,
«загадка», «трепет», «рок»,
и только слово «рама»
вдруг стало поперек.
А девушка машинкой
в окне стучит, стучит,
и что-то под манишкой
в ответ стучит, стучит,
и что-то вроде гула,
и ясно не вполне,
но что-то промелькнуло,
послышалось в окне.
Не «тема женской доли»,
не Маркс, не Томас Гуд,
да чорта ли в том что ли,
в «Биржевке» все возьмут.
«Проклятые вопросы»?
Да нет, не то, не то...
И пепел с папиросы
спадает на пальто.
*Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненно драмой
Загадочно полна.*

Ньюхемпширский профессор
российских кислых щей,
зачем над старой книжкой
я чахну, как Кащей,
как будто за морями,
сыскали мой дворец,
как будто разломали
заветный мой ларец,
как будто надломили
тончайшую иглу,
и здесь клубочки пыли
взметаются к стеклу,
и солнце проникает
в мой тусклый кабинет,
на книгах возникает

мой грузный силуэт,
вся тень фигуры в кресле
сползает по стене
и, видимо, исчезнет
минуты через две —
*Вся сцена, словно рамой,
Окном обведена
И жизненно драмой
Загадочно полна.*

«СОЖЖЕНО И РАЗДВИНУТО»

И все, чего нет на картине,
Ему пережить суждено.

В. Шефнер

Березка. Девицы прическа.
Рассвета/заката полоска.
Виток (т. е. ветер). Волна.
«Дороги». «Закат над заливом».
«Рассвет над проливом». Стыдливым
петитиком — сзади — цена.

Ах, что-то не тянет смеяться,
а тянет дежурством сменяться
в дурную эпоху, в тот свет,
где из-под стеклянного шара,
набив в портмоне гонорара,
выходит на Невский поэт.

Он грустен: «Обложка по Сеньке.
Халтура за медные деньги.
Заезжен размер, а строфа
разношена старой галошей.
Весь стих, как трамвай нехороший,
что тащится на острова.

Что делать — дурная эпоха,
все попросту пишут, да плохо,
что хуже и впрямь воровства.
Эх, грудь ты моя, подоплека,
всех помнишь, а вслух только Блока
и то с отрицаньем родства».

(Что делать — дурная эпоха.
В почете палач и пройдоха.
Хорошего — только война.
Что делать, такая эпоха
досталась, дурная эпоха.
Другая пока не видна.)

Автобус! машина «победа»!
прошу, не давите поэта,
не смотрит он по сторонам.
В нем связь между нами и Блоком,
в ледащем, слегка кривобоком,
бредущем в плохой ресторан.

О муза! будь доброй к поэту,
пускай он гульнет по буфету,
пускай он нарежется в дым,
дай хрену ему к осетрине,
дай столик поближе к витрине,
чтоб желтым зажегся в графине
закат над его заливным.

3 РУБЛЯ (случай в Москве)

В котельной
багров кагор близ колбасы отдельной.

И вдруг на трех рублях, где будто б знак,
он распознал масонский знак,
а в самой цифре 3
узрел звезду Давида.
Похолодело все внутри,
но он не подал вида.

Гремело радио, бодря,
всех призывая на заря-
дку. Встала над Москвой заря
тридцать второго мартабря.

Он принял в сквере двести грамм
и наблюдал, дремля,
свеченье красных пентаграмм
над башнями Кремля.

Он спал, но то был вещей сон,
в нем было 5 идей:

- 1) имеют башни облик свеч;
- 2) их ясно кто сумел возжечь;
- 3) Фиораванти—иудей;
- 4) Наполеон — масон;
- 5)

Оплавал потихоньку красный воск,
и левый мозг за правый мозг
поехал кое-как.

К себе домой через Крымский мост
шагает кочегар.

Из чувств он ощущал — тоску.

Он понимал, что проиграл
тому, кто хозяйничал в мозгу
и бодро ручки потирал,

и инструменты выбирал.
«Идем к тебе». «Идем ко мне».

Жена на службе. Суп на окне.
Ребенком воздух весь пропах.
Дьявол был во всех углах.

Проснулся он от тишины.
Все еще не было жены.
Он чувствовал конец игры.
Он знал, что́ было тишиной,
но брел проверить — не мокры
пеленки дочери грудной?
О да, мокры они, мокры.

ИКОНА

Аквариум в сочельник Рождества.
Возможность невозможного коснуться.
Кощунственная рифма...

Черта с два!
Давно претит безвкусица кощунства.

Синеющий в сочельник Рождества,
он кажется то образом, то словом.
Там ангелов блестящая плотва
в зеленом, белом, розовом, лиловом.

Аквариум — в зеленом, золотом,
лиловом, розовом, блестящем, белом.
К стеклу прижаться лбом, глазами, ртом
и к слову, становящемуся делом,

приблизиться.

К стеклу всплывают лбы,
глядят глаза, подрагивает веко,
возможно, выделяя из толпы
стоящего так близко человека.



Жизнь подносила огромные дули
с наваром.

Вот ты доехал до Ultima Thule
со своим самоваром.

Щепочки, точки, все торопливое
(взятое в скобку) —
все, выясняется, здесь пригодится на топливо
или растопку.

Сизо-прозрачный, приятный, отеческий
вьется.

Льется горячее, очень горячее
льется.



Поэт есть перегной, в нем мертвые слова
сочатся, лопаясь, то щелочно, то кисло,
звук избавляется от смысла, а
аз, буки и т. д. обнажены, как числа,

улыбка тленная уста его свела,
и мысль последняя, как корешок, повисла.
Потом личинка лярвочку прогрызла,
бактерия дите произвела.

Поэт есть перегной.
В нем все пути зерна,
то дождик мочит их, то солнце прогревает.

Потом идет зима,
и белой пеленой
пустое поле покрывает.

ПОЛЕМИКА

Нет, лишь случайные черты
прекрасны в этом страшном мире,
где конвоиры скалят рты
и ставят нас на все четыре.

Внезапный в тучах перерыв,
неправильная строчка Блока,
советской песенки мотив
среди кварталов шлакоблока.

ЛЕВЛОСЕВ

Левлосев не поэт, не кифаред.
Он маринист, он велимировед,
бродкист в очках и с реденькой бородкой,
он осиполог с сиплой глоткой,
он пахнет водкой,
он порет бред.

Левлосевлосевлосевлосевон-
ононононононононон иуда,
он предал Русь, он предает Сион,
он пьет лосьон,
не отличает добра от худа,
он никогда не знает, что откуда,
хоть слышал звон.

Он аннофил, он александроман,
федоролюб, переходя на прозу,
его не станет написать роман,
а там статью по важному вопросу —
держи карман!

Он слышит звон,
как будто кто казнен
там, где солома якобы едома,
но то не колокол, то телефон,
он не подходит, его нет дома.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ (Элегия в трех частях)



Бог умер.
Ницше.
Ницше умер.
Бог.¹

В уборной стонет сизый голубок.
За дверью 00 (два нуля) хорал воды проточной,
И посетитель беспорточный
среди мрамора сидит, как полубог.

Усвоив шутку с зеркалом внутри,
неспешным оком осмотри
сырые стены мраморной пещеры.
Здесь части тел ведут свою войну,
забыв предохранительные меры,
ужасные в длину и в ширину.

...бог умер ницше : ницше умер бог...
Напухших пушек дула смотрят вбок
поверх бойниц курчавых. Из бойниц же,
раскрытых между ног как третий глаз,
на нас глядит не Бог, не Ницше,
незнамо что глядит на нас.



Дом, именуемый глаголом — «лгу»,
пустынных волн стоял на берегу
и вдаль глядел. Пред ним неслись «победы»,
троллейбусы, профессоры, народ,
красавицы и наоборот,
и будущие эзоповеды.

За чтение на картошке «Also sprach...»
ах, некогда мне было там sehr schwach.
Я там узнал, что комсомол неистов,
что, что бы я им там ни плел, козел,
из этих алкашей и онанистов
со мной никто б в разведку не пошел,
что я — змея, побег дурной травы,
что должен быть растоптан и раздавлен.

Но тут примчался папа из Москвы,
просил, и я был, так и быть, оставлен.

Я на допросе препирался с про-
(зачеркнуто) — на зачете с Проппом.
Я думал, сказки — то-се, зло, добро,
а Пропп считал избушку гробом.²

И Пропп был прав, а я не прав. И вот
ко мне избушка повернулась задом.
В разведку не был послан я отрядом,
но поворот мне вышел от ворот,
где забивает целый день козла,
а польт не принимает гардеробщик,
где темная Нева под льдами ропщет
извне добра и зла.



Университет похмельной лиги.
На железных полках дрыхнут книги.
Перестрелка теннисных мячей.
Все всегда кончается ничьей.

Старички в штанишках сухопары
и старушки (смешанные пары).
Скованный склероз телодвиже-
ний, как пары рифм: две М, две Ж.

Теннисная схватка без ракетки.
Пишущая машинка без каретки.

Пыльное, без форточки окно.
Темновато. Впрочем, не темно.

Прогуляться возле стадиона.
Не студено? Вроде не студено.
Но нельзя сказать, чтобы тепло.
Два овала вялых на табло.

Примечания

¹ Граффити, часто встречающееся на стенах университетских уборных в США.

² См. В. Я. Пропп «Исторические корни волшебной сказки».

СЛОВА ДЛЯ РОМАНСА «СЛОВА»

Слова, вы прошлогодняя трава:
вас скосишь и опять вы прорастете.
Счета оплачены и музыка права,
и дирижер с бухгалтером в расчете.

Устроим праздник, поедим, попьем,
поделимся осенним впечатленьем,
что расстояние и площадь, и объем
искажены шуршанием и тленьем.

Знать, горизонт, почувяв холода,
в тугой клубок свернулся по-кошачьи.
Что делать, не скакать же по-казачьи —
нет лошади да и вообще куда?

Сибирской сталью холод полоснет,
и станет даль багровою и ржавой,
магнитофон заночует Окуджавой
и, как кошачий язычок шершавый,
вдруг душу беззащитную лизнет.

Я складывал слова, как бы дрова:
пить, затопить, купить, камин, собака.
Вот так слова и поперек слова.
Но почему ж так холодно, однако?

ИЗБА

Если уж очень нужно тепла,
кажется, черту душу продашь,
Канта отточенный карандаш
нам нарисует четыре угла.

С холода вдруг да привыкнуть к теплу
трудно, но Федор Михалыч допер:
повесил икону в красном углу,
в не менее красном поставил топор.

Печка да свечка да пол с потолком.
Кто-то снаружи летит мотыльком,
кто-то разглядывает сквозь стекло
наш незначительный свет и тепло.

ТУАЛЕТ

На подзеркальнике мерцали цапки —
нецке, цепочки, выцинанки, кольца, яйца,
снесенные под пасху Фаберже,
а возле дымно-розовых флаконов
венецианских, датской голубой
свиньи вся в инкрустации шкатулка
персидская, хранилище квитанций
за газ, за телефон, за свет, рецептов
на остродефицитный стрептоцид,
на красном дереве в прожогах от щипцов
пороша розовато-жирной пудры,
а золотой цилиндрик ярко-красным
пятном отметил голубой конверт,
где вместо марки черный-черный штамп:
ПРОВЕРЕНО ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ —
ЙОРУЗНЕЦ ЙОННЕОВ ОНЕРЕВОРП,
поскольку розовое, голубое,
персидско-датское, щипцы и стрептоцид,
все это пробиралось в зазеркалье,
где и мерцал в венецианском дыме,
беззвучно квохча, Фаберже — он снес
цепочку или нецке иль кольцо?
рецепт на телефон иль веронал?
иль это галицийская безделка?
.
.
над этим миром жило не лицо,
а черная бумажная тарелка,
играющая «Интернационал».

ПЕЧКА

Когда они пришли покончить с ней,
вооруженные железными вещами,
никто не заступился. Только я,
вооруженный жадным любопытством,
пришел глядеть. Я видел первый страшный
и в сущности решающий удар
кувалды. Хруст. Тяжелое дыханье.
Взметнулась пыль, как седенькая кичка
над надвое расколотой башкой,
и с прозеленью медные глаза
взглянули на меня со дна, с поддона,
из бездны, что всегда под нашим дном.

3 копейки. Орел

*Орел глядит на Запад и Восток.
Орлиный зрак пустынен и жесток.
Там поднимается проклятьем заклеянный.
Там занимается закат лимонный.
Посередине Александр Блок.
Орел глядит вовсю. Знать, только медь
умеет так медлительно глядеть.
Орел глядит, как не умеем мы,
хотя есть и у нас четыре глаза,
на наступленье временного класса,
на наступленье тьмы.*

3 копейки. Решка

*Два завитка кудрявой цифры 3
нетривиальны, что ни говори,
и буква ять, след от копыа в копейке,
стоит с крестом, в монашеской скуфейке,
с кузминскою улыбочкой внутри.*

*Стоит или сидит? Знать, только ять
умеет так сидеть или стоять.
Ять полустерт, как будто знает он,
что со своей природою двойною
он устарел, что новою войною
он будет отменен.*

Печник, печник! ты в основанье печки
монетки кинул просто так, на счастье,
не думал ты, что на свои алтыны
сумеешь столько вечности купить.
Их тихий звон внушает ликование,
подобно неразменному рублю
они всегда звенят в моем кармане.
Я многое на них еще куплю.

1945

1. В городе

Колесница Аполлона
и коринфский завиток,
и еще неопыленно
на пчелу глядит цветок.
Триумфаторы в колоннах
маршируют на восток,
и в коленках оголенных
восхищенья холодок.
Победитель над Европой
на хоругви с Ильичом,
а рябой и черножопый
в нем еще не уличен.
Но узнает вся Европа
свою страшную судьбу,
красный ангел агитпропа
дунет в длинную трубу.
Пусть весельем Запад занят,
снова волею Москвы
с наших стен летят на запад
гидры, гении и львы.
На рассвете леденеет
бронзовый полугрузин,
злая тень его длиннеет,
медный конь под ним бледнеет.
Зри! он пальцем погрозил.

2. В лагере

Взгляд по-грузински тяжел:
«Лифшиц, стань перед строем
и расскажи, как дошел
ты до жизни такой». (Ужо им!)
«Первый отряд на пропол-

ку, остальные на встречу с героем».
Волей-неволей-бол
перед отбоем.

Сон, перерезанный в шесть
горном. Подъем. Зарядка.
Рукомойни громкая жесьть.
В уборной страшная ватка.
Кинофильм «Пионерская честь».
Полдник. Булочка. Сладко.
Что-то кровавое есть
в слове «кроватька».

ОДА НА 1937 ГОД

I

Какого-то забытого... Ах, что ты,
какого-то известного числа
был день рожденья новой ноты —
она вдруг народилась и росла,
и выбивалась из мотивчика,
как Горький в люди, как грудь из лифчика,
как гордый чуб на запорожский лоб;
то ль вычесал ее Пикассо из гитары,
то ль завезли ее на Русь татары,
то ль мальчик по стеклу ножом проскреб.

II

Идет июнь, как рекрут в сельсовет.
Стоит террор, как солнце над Союзом.
Лежит зародыш в виде запятой.
Уже пошла девица за водой,
а азбука раззявилась арбузом,
уже Крылов настроил свой квартет.
Идет июнь с гармошкой в сельсовет.
Летают стратонавты над Союзом,
над женщиной с ее огромным пузом,
трамвая ждущей, а его все нет.

III

Отполирован к празднику гранит,
спит сад в своих чугунных папилютках,
в Египте карабинных пирамид
восходят ночью звезды на пилотках
и медные посереде ремня,
в столице стены древнего кремля

подкрашивает утро нежным светом —
так мама марганцовочкой кропит
опрелость. Огорченный туалетом
сын человеческий ревет ремня.

IV

Угас Якир и Блюхер наш потух,
за Тухачевским рухнул Уборевич.
Клюется в жопу жареный петух.
Бо-бо, но ничего, переболеешь.
Зачем летишь ты, тополиный пух, —
листочков всех ты не переболеешь:
челюскинцы! из челюстей! зимы!
удалены по одному, как зубы...
Звезда Бессмыслицы дает взаймы,
но только незначительные суммы.

V

«Что ж, будем петь, пуская петуха,
поменьше пить, потешничать потише», —
так думал Даниил Иваныч Х.
А рядом Михаил Михалыч З.
ел бутерброд, прихлебывал розе
и думал: «Это надо же, поди же,
не заросла народная тропа,
напротив, ежедневно прет толпа
играть и жрать у гробового входа».
(Уходит, не докушав бутерброда.)

VI

Сто лет назад от выстрела в живот
скончался в корчах Александр Пушкин —
вот почему народ навеселе.
Но почему нам подают телегу?
Но почему нас дудочка зовет?

Но почему, презревши сон и негу,
по матушке лошадку края,
летишь, как первый парень на селе,
откликнуться на голос русской крови
своей седьмой водой на киселе?

VII

На холмы Грузии легла ночная мгла,
Бессмыслицы Звезда себя зажгла,
и вот что выясняется дотла:
поэзия есть базис и надстройка —
поет, как флейта, и скрипит, как койка,
она летает над самой собой,
как над погромной кровью пух перинный,
как МИГи над Курильской грядой,
как дух в ЦПКО над резедой,
как в ЦДЛ душок над осетриной.

VIII

Ну и июнь! Как рекрут в сельсовет,
младенец вваливается в белый свет,
он видит: со стальной груди балтфлота
татуировка заявляет в шутку,
что счастья в жизни нет,
растение, похожее на дудку,
«Турецкий марш» со своего ж листа
уже дудит. Но что это? Минутку.
Та нота новая — ты та или не та?
Да, да, ты та, ты та, ты эта нота!

IX

Ты та. Так значит, все же проросла,
не извели врачи и душегубы,
имея день рожденья без числа,
звуча, но не имея места в гамме,

по отношенью к дому кверху ногами,
по эту сторону добра и зла,
водя ножом по мутному стеклу
и об него ж расплюща нос и губы —
ба! барабан! чу! уж не трубы ль? трубы!
Труба и барабан сквозь гул и мглу.

Х

.....
.....
.....

навстречу нам стоят ряды колонн,
день синь и солнечен, и нежно оголен
цветок жасмина, из-за поворота
на нас шагает золотая рота —
мундир! не лыком! шит!
Над золотым рожком серебряная нота
взлетает и кружит.



Что было стекл зеленоватых,
цыганских слез солоноватых,
шампанских брызг!
Похмельных утр в скуленьях сучьих —
в окне и в сердце в черных сучьях
стыл обелиск.

О юность! как твой опыт узок.
Уж не вернуть любвей и музык,
заезжен диск,
зеленый змий бумажным змеем
стал, да и мы уж не сумеем
напиться вдрызг.



«Извини, что украла», — говорю я воровке;
«Обязуюсь не говорить о веревке», —
говорю палачу.
Вот, подванивая, низколобая проблядь
Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь.
Я молчу.

Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
вновь бы лошади ели овес,
чтоб над родиной облако славы лучилось,
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
А язык не отсохнет авось.

NATÜRLICH

Утомленный то скукой, то злостью,
я на солнце улегся пластом,
упираясь затылочной костью
в Велемира увесистый том.

Совершали букашки набег,
было жарко и болконскиймо,
и тогда мне кузнечик на веки
положил золотое письмо.

Притяжение текста и текста,
их стремление слиться в одно
гонит токи сквозь вязкое тесто,
и вспухает, и бродит оно.



Свечи. Светлый хор глубинный.
Свет мерцает сквозь толпу.
Чертят кровью голубиной
крест у мальчика на лбу.

Чача капает из трубки.
Чавкает грязца с кровцой.
Над углем шипят обрубки
мяса, бывшего овцой.

Армянин хохочет плача,
и к подножию Творца
притекают кровь и чача,
мальчик, голубь и овца.

АПРЕЛЬ 1950

Вижу: вот он идет с медосмотра
с дифтерийной прививкой в плече,
и ребенка жидовская морда
розовеет и жмурится в нежном апрельском луче.

Как известно, в периоды Ирода дети
улыбаются сами себе.
Поднимается жар. Зажигается свет в кабинете.
Корифей дифтерита в сапогах зашагал по судьбе.

Он уже выбирает из русского списка комочки
еврейских фамилий.
Он в ночи-сортировочной составляет товарные поезда.
Но зачем прививается славянская тяжесть крылий?
Ах, зачем нам ширококрылость тогда?

Как слезу не сглотнуть в этом первом полете,
если сверху не то, что виднее — родней
трубы, крыши да в воробьином помете
триумфальные спины коней.

ИЗ КНИГИ

«Новые сведения о Карле и Кларе»

19 **96**

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

Кораллы

украва у Клары, скрылся, сбрив усы,
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.
Он русским продал шубу и часы
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.
А в лиственных лесах дуплистых губ
не счесть, и нашептаться довелось им,
что обрусел немецкий лесоруб,
запил, запел, топор за печь забросил.

Кларнет

украва у Карла как-то смеху для,
она его тотчас куда-то дела,
но дева готская уберегла футляр,
его порою раскрывала дева.
Шли облака кудряво, кучево,
с востока наступая неуклонно,
но снег не шел, не шел, и ничего
не падало в коралловое лоно.

Mein Gott!

Вот густо-розовый какой коловорот,
скороговорок вороватый табор,
фольклорных оговорок à la Freud,
любви, разлуки, музыки, метафор!

СОНЕТ В САМОЛЕТЕ

Отдельный страх, помноженный на сто.
Ревут турбины. Нежно пахнет рвота.
Бог знает что... Уж Он-то знает, что
набито ночью в бочку самолета.

Места заполнены, как карточки лото,
и каждый пассажир похож на что-то,
вернее, ни на что — без коверкота
все как начинка собственных пальто.

Яко пророк провидех и писах,
явились зна́мения в небесах.
Пока мы баиньки в вонючем полумраке,

летают боинги, как мусорные баки,
и облака грызутся, как собаки
на свалке, где кругом страх, страх, страх.

XVIII ВЕК

Восемнадцатый век, что свинья в парике.
Проплывает бардак золотой по реке,
а в атласной каюте Фелица
захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи,
вдруг почувял, что силу теряют духи,
заглушавшие запахи тела,
завозилась мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, проплыл,
лишь свои декорации кой-где забыл,
что разлезлись под натиском прущей
русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все сработано грубо, простым топором.
Накорябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, душу скребущий.



Или еще такой сюжет:
я есть, но в то же время нет,
здоровья нет, и нет монет,
покоя нет, и воли нет,
нет сердца — есть неровный стук
да эти шалости пером,
когда они накатят вдруг,
как на пустой квартал погром,
и, как еврейка казаку,
мозг отдаётся языку,
совокупленье этих двух
взывает звуков легкий пух,
и бьются язычки огня
вокруг отсутствия меня.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Меж топких берегов извиистой реки...

Полонский

Где леса верхушки глядят осовело,
когда опускаешь весло,
где двигалось плавно, но что-то заело,
застряло, ко дну приросло
(сквозь сосны горячее солнце сочилось,
торчали лучи наискось,
но смерклось, исчезло, знать, что-то случилось,
печальное что-тострялось),
его сквозь себя пропускают колхозы,
пустые поля и дома
уткнуться, где гнутся над омутом лозы,
где в омуте время и тьма.

ПОДРАЖАНИЕ

Как ты там смертника ни прихорашивай,
осенью он одинок.

Бьется на ленте солдатской оранжевой
жалкий его орденоч.

За гимнастерку ее беззащитную
жалко осину в лесу.

Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.

Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?

А отражение дерева в омуте —
тоже, считай, воровство?

А отражение есть подражание,
в мрак погруженье ветвей.

Так подражает осине дрожание
красной аорты моей.

ПАРИЖСКАЯ НОТА

Он вынул вино из портфеля,
наполнил стакан в тишине.
Над крышами башня Эйфеля
торчала в открытом окне.

Заката багровая кромка
кропила отлив жестяной.
«...vraiment ça finit trop mal», — громко
вдруг кто-то сказал за стеной.

Такая случайная фраза
в такие печальные дни
бросает на кухню, где газа
довольно — лишь кран крутани.

ИЗ МАРКА СТРЭНДА*

1. На пустыре

Столь ржав в крапиве старый таз,
что ты зажмуриваешь глаз,
столь рыж.

Ты ежишься внутри плаща,
а с неба дождь ползет, луца
толь крыш
отсутствующих. Сквозь окно,
которого здесь нет давно,
узрим

прямоугольное пятно
там, где висело полотно
«Гольфстрим».

Там шлюпки вздыблена корма,
там двум матросам задарма
конец.

И, если глаз не поднимать,
увидишь: обнимает мать
отец.

Вот он махнул тебе рукой
пустой, неясной, никакой.

Притырь
сворованный у смерти миг.
Дождь капает за воротник.
Пустырь.

2. Один день

В дверях он долго шаркает нейлоном
и замечает равнодушным тоном,

* В звуко-смысловом отношении современная поэзия на английском языке настолько отличается от русской, что я не вижу возможности точного перевода. Так что за этот мой отклик на его замечательные стихи Марк Стрэнд, поэт-лауреат США 1990 года, никакой ответственности не несет.

что подмораживать как будто начало.
Она, управившись с посудой, подметает,
при этом кажется ей, что напоминает
жизнь, но всегда к полудню понимает,
что вспоминать-то в общем нечего.

Он отпирает лавку ровно в девять.
Давно привыкший ничего не делать,
он в 5.15 дома, как всегда.
Они жуют на ужин бутерброды,
ТВ вещает им прогноз погоды,
прогноз им обещает холода.

Потом пройтись по своему безлюдью,
на встречный ветер опираясь грудью,
они идут, подняв воротники.
А ветер трудится, как прачка над лоханью,
рвет прямо с губ клубочки их дыханья
и прочь уносит, в сторону реки.

ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ

Светлане Ельницкой

Река валяет дурака
и бьет баклуши.
Электростанция разрушена. Река
грохочет вроде ткацкого станка,
чуть-чуть поглуше.

Огромная квартира. Виден
сквозь бывшее фабричное окно
осенний парк, реки бурливый сбитень,
а далее кирпично и красно
от сукновален и шерстобитен.

Здесь прежде шерсть прялась,
сукно валялось,
река впрягалась в дело, распрямясь,
прибавочная стоимость бралась
и прибавлялась.

Она накоплена. Пора иметь
дуб выскобленный, кирпич оттертый,
стекло отмытое, надраенную медь,
и слушать музыку, и чувствовать аортой,
что скоро смерть.

Как только нас тоска последняя прошьет,
век девятнадцатый вернется
и реку вновь впряжет,
закат окно фабричное прожжет,
и на щеках рабочего народца

взойдет заря туберкулеза,
и заскулит ошпаренный щенок,
и запюют станки многоголоса,
и заснует челнок,
и застучат колеса.

ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛА

Я помню: в попури из старых драм,
производя ужасный тарарам,
по сцене прыгал Папазян Ваграм,
летели брызги, хрип, вставные зубы.
Я помню: в тесном зале МВД
стоял великий Юрьев в позе де
Позы по пояс в смерти, как в воде,
и плакали в партере мужелюбы.

За выслугою лет, ей-ей, простишь
любую пошлость. Превратясь в пастиш,
сюжет, глядишь, уже не так бесстыж,
и сентимент приобретает цену.
...Для вящей драматичности конца
в подсветку подбавлялась зеленца,
и в роли разнесчастливого отца
Амвросий Бучма выходил на сцену.

Я тщился в горле проглотить комок,
и не один платок вокруг намок.
А собственно, что Бучма сделать мог —
зал потрясти метаньем оголтелым?
исторгнуть вой? задержать головой?
или, напротив, стыть, как неживой,
нас поражая маской меловой?
Нет, ничего он этого не делал.

Он обернулся к публике *спиной*,
и зал вдруг поперхнулся тишиной,
и было только видно, как одной
лопаткой чуть подрагивает Бучма.
И на минуту обмирал народ.
Ах, принимая душу в оборот,
нас силой суггестивности берет
минимализм, коль говорить научно.

Всем, кто там был, не позабыть никак
потертый фрак, зеленоватый мрак

и как он вдруг напрягся и обмяк,
и серые кудельки вроде пакли.
Но бес театра мне сумел шепнуть,
что надо расстараться как-нибудь
из-за кулис хотя б разок взглянуть
на сей трагический момент в спектакле.

С меня бутылку взял хохол-помреж,
провел меня, шепнув: «Ну, ты помрэшь», —
за сцену. Я застал кулис промеж
всю труппу — от кассира до гримера.
И вот мы слышим — замирает зал —
Амвросий залу *спину* показал,
а нам лицо. И губы облизал.
Скосил глаза. И тут пошла умора!

В то время как, трагически черна,
гипнотизировала зал спина
и в зале трепетала тишина,
он для своих коронный номер выдал:
закатывал глаза, пыхтел, вздыхал,
и даже ухом, кажется, махал,
и быстро в губы языком пихал —
я ничего похабнее не видел.

И страшно было видеть, и смешно
на фоне зала эту рожу, но
за этой рожей, вроде Мажино,
должна быть линия — меж нею и затылком.
Но не видать ни линии, ни шва.
И вряд ли в туше есть душа жива.
Я разлюбил театр и едва
ли не себя в своем усердьи пылком.

Нет, мне не жаль теперь, что было жаль
мне старика, что гений — это шваль.
Я не Крылов, мне не нужна мораль.
Я думаю, что думать можно всяко
о мастерах искусств и в их числе
актерах. Их ужасном ремесле.
Их тренировке. О добре и зле.
О нравственности. О природе знака.

30 ЯНВАРЯ 1956 ГОДА
(у Пастернака)

Все, что я помню за этой длиной,
очерк внезапный фигуры ледащей,
голос гудящий, как почерк летящий,
голос гудящий, день ледяной,

голос гудящий, как ветер, что мачт
чуть не ломает на чудной картине,
где громоздится льдина на льдине,
волны толкаются в тучи и мчат,

голос гудящий был близнецом
этой любимой картины печатной,
где над трехтрубником стелется чадный
дым и рассеивается перед концом;

то ль навсегда он себя погрузил
в бездну, то ль вынырнет, в скалы не врежась,
так в разговоре мелькали норвежец,
бедный воронежец, нежный грузин;

голос гудел и грозил распаять
клапаны смысла и связи расплавить;
что там моя полудетская память!
где там запомнить! как там понять!

Все, что я помню, — день ледяной,
голос, звучащий на грани рыданий,
рой оправданий, преданий, страданий,
день, меня смявший и сделавший мной.

ИОСИФ БРОДСКИЙ, ИЛИ ОДА НА 1957 ГОД

Хотелось бы поесть борща
и что-то сделать сообща:
пойти на улицу с плакатом,
напиться, подписать протест,
уехать прочь из этих мест
и дверью хлопнуть. Да куда там.

Не то что держат взаперти,
а просто некуда идти:
в кино ремонт, а в бане были.
На перекресток — обонять
бензин, болтаться, обгонять
толпу, себя, автомобили.

Фонарь трясется на столбе,
двоит, трои́т друзей в толпе:
тот — лирик в форме заявлений,
тот — мастер петь обиняком,
а тот — гуляет бедняком,
подъяв кулак, что твой Евгений.

Родимых улиц шумный крест
венчают храмы этих мест.
Два — в память воинских событий.
Что моряков, что пушкарей,
чугунных пушек, якорей,
мечей, цепей, кровопролитий!

А третий, главный, храм, увы,
златой лишился головы,
зато одет в гранитный китель.
Там в окнах никогда не спят,
и тех, кто нынче там распят,
не посещает небожитель.

«Голым-гола ночная мгла».
Толпа к собору притекла,
и ночь, с востока начиная,
задёргала колокола,
и от своих свечей зажгла
сердца мистерия ночная.

Дохлёбан борщ, а каша не
доедена, но уж кашне
мать поправляет на подростке.
Свистит мильтон. Звонит звонарь.
Но главное — шумит словарь,
словарь шумит на перекрестке.

*душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо*

ВАРИАЦИИ ДЛЯ БОЯНА

О, Русская земля! ты уже за бугром.
Происходит в перистом небе погром,
на пух облаков проливается кровь заката.
Горько! Выносят сорочку с кровавым пятном —
выдали белую деву за гада.

Эх, Русская земля, ты уже за бугром.
Не за ханом — за паханом, «бугром»,
даже Божья церковь и та приבלатнилась.
Не заутрени звон, а об рельс «подъем».
Или ты мне вообще приблазнилась.

Помнишь ли землю за русским бугром?
Помню, ловили в канале гандоны багром,
блохи цокали сталью по худым тротуарам,
торговали в Гостином нехитрым товаром:
монтажной, ломом и топором.

О, Русская земля, ты уже за бугром!
Не моим бы надо об этом пером,
но каким уж есть, таким и помянем
ошалелую землю — только добром! —
нашу серую землю за шеломянем.

ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВНИ

В российских чащобах им нету числа,
все только пути не найдем —
мосты обвалились, метель занесла,
тропу завалил бурелом.

Там пашут в апреле, там в августе жнут,
там в шапке не сядут за стол,
спокойно второго пришествия ждут,
поклонятся, кто б ни пришел —

урядник на тройке, архангел с трубой,
прохожий в немецком пальто.
Там лечат болезни водой и травой.
Там не помирает никто.

Их на зиму в сон погружает Господь,
в снега укрывает до стрех —
ни прорубь поправить, ни дров поколоть,
ни санок, ни игр, ни потех.

Покой на полатях вкушают тела,
а души — веселые сны.
В овчинах запуталось столько тепла,
что хватит до самой весны.

ВЫСОЦКИЙ ПОЕТ ОТТУДА

Справа крякает рессора, слева скрипит дверца,
как-то не так мотор стучит (недавно починял).
Тяжелеет голова, болит у меня сердце,
кто эту песню сочинил, не знал, чего сочинял.

Эх, не надо было мне вчера открывать бутылку,
не тянуло бы сейчас под левую рукой.
А то вот я задумался, пропустил развилку,
все поехали по верхней, а я по другой.

А другая вымощена грубыми камнями,
не заметил, как очутился в сумрачном лесу.
Все деревья об меня спотыкаются корнями,
удивляются деревья — чего это я несу.

Удивляются дубы — что за околесица,
сколько можно то же самое, то же самое долбить.
А березы говорят: пройдет, перебесится,
просто сразу не привыкнешь мертвым быть.

BUSHMILLS*

Ирландской песенки мотив
сидит, колени обхватив,
покачивается перед огнем
и говорит: что ж, помянем?

Ирландской песенки мотив,
все позабыв, все позабыв,
кроме двух-трех начальных нот,
мне золота в стакан плеснет.

Кроме двух-трех начальных нот
и черного бревна в огне,
никто со мной не помянет
того, что умерло во мне.

А чем прикажешь поминать —
молчаньем русских аонид?
А как прикажешь понимать,
что страшно трубку поднимать,
а телефон звонит.

* Марка высококачественного ирландского виски.

ПЁС

Поскольку пес устройством прост:
болтаются язык да хвост,
сравню себя
я с этой шерстью небольшой,
с пованивающей паршой.
Скуля, сипя,

мой мокрый орган без костей
для перемолки новостей,
валяй, мели!
Обрубок страха и тоски,
служи за черствые куски,
виляй, моли!



Воскресенье. Тепло. Кисея занавески полна
восклицаниями грузчика, кои благопристойны и кратки,
мягким стуком хлебных лотков, т. е. тем,
что и есть тишина.

Спит жена. Ей деревья снятся и грядки.

Бесконечно начало вовлечения в эту игру
листьев, запаха хлеба, занавески кисейной,
солнца, синего утра, когда я умру,
воскресенья.

ЮБИЛЕЙНОЕ

О, как хороша графоманная
поэзия слов граммофонная:

«Поедем на лодке кататься...»
В пролетке, расшлепывать грязь!
И слушать стихи святотатца,
пугаясь и в мыслях крестясь.
Сам под потолок, недотрога,
он трогает рифмой звеня,
игрушечным ножиком Бога,
испуганным взглядом меня.

Могучий борец с канарейкой,
приласканный нежной еврейкой,
затравленный Временем-Виём,
катает шары и острит.
Ему только кажется кием
нацеленный на смерть бушприт.
Кораблик из старой газеты
дымит папиросной трубой.
Поедем в «Собаку», поэты,
возьмем бедолагу с собой.

Закутанный в кофточку желтую,
он рябчика тушку тяжелую,
знарок горьковатого мяса,
волочит в трагический рот.
Отрежьте ему ананаса
за то, что он скоро умрет.

В АЛЬБОМ О.

Про любовь мне сладкий голос пел...
Лермонтов

То ль звезда со звездой разговор держала,
то ль в асфальте кварцит норовил блеснуть...
Вижу, в розовой рубашке вышел Окуджава.
На дорогу. Один. На кремнистый путь.

Тут бы романсам расцветать, рокотать балладам,
но торжественных и чудных мы не слышим нот.
Удивляется народ: что это с Булатом?
Не играет ни на чем, песен не поет.

Тишина бредет за ним по холмам Вермонта
и прекрасная жена, тень от тишины...
Белопарусный корабль выйдет из ремонта,
снова будут паруса музыкой полны.

Отблеск шума земли, отголосок света,
ходит-бродит один в тихой темноте.
Отражается луна в лысине поэта.
Отзывается струна неизвестно где.

БРАЙТОН-БИЧ

Но всё, о море! всё ничтожно
Пред жалобой твоей ночной...
Вяземский

трогал писю трогал кака
наказали плакал что больше не будет

подарили книгу «Сын полка»
когда вырастет пионером будет

Дважды прочитал «Хуторок в степи»
(«Сын полка» отправлен на полку).
Подглядел, как девочки делают пипи,
и это надолго сбивает с толку.

Позади «Детские годы Ильича»,
впереди праздник «Встреча весны».
Уже не волнуют фекалии и моча,
но поразительные картинки из «Справочника врача»
превращаются в сны.

Узнал, что «пидараст»
не ругательство, а физрук Абдула.

Сказала, что умрет, но не даст
поцелуя без любви.

Но дала.
И так далее. Институт. На картошке
спальные мешки, свальные грешки.
Инженер. Муж. Детские горшки.
До пятницы занятие трешки.
По вечерам водка и ТВ, ТВ:
грязноармеец громит беглогвардейца.
Самиздат, тамиздат и т. д., и т. п.

И когда уже не на что больше надеяться,
заходит друг, говорит: «Ну, елки-
палки, чего нам терять, опричь
запчастей».

И вот он в Нью-Йорке.
Нью-Йорк называется Брайтон-Бич.
Над ним надземки марсианская ржа.
В воздухе валяются неряшливые птицы.
Под досками прибор пошевеливает, шурша,
презервативы, тампоны, газеты, шприцы.

ПЕСНЯ ДЕСАНТНОГО ПОЛКА

Кончаюсь в зверских горах в шоке, крови, тоске,
под матюги санитаров и перебранку раций.
Сладко, как шоколадка, *и почетно*, как на доске,
умереть за отчизну, говорит Гораций.

Здесь, за зверским хребтом, мне перебили хребет
плюс полостное ранение, но это я не заметил.
Мне в ухо хрипит по-русски отчизна, которой нет:
дескать, держись, и Высоцкого, и новости, и хеви метал.

Кончаюсь в зверских горах. Звери друг дружку рвут,
у не своих ценят внутренности выедают.
Я кончился, но по инерции: «Вот-вот, — рации врут, —
вот-вот вертолеты вылетают».

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Родной мой город безымян,
всегда висит над ним туман
в цвет молока снятого.
Назвать стесняются уста
трижды предавшего Христа
и все-таки святого.

Как называется страна?
Дались вам эти имена!
Я из страны, товарищ,
где нет дорог, ведущих в Рим,
где в небе дым нерастворим
и где снежок нетающ.

НА СМЕРТЬ Ю. Л. МИХАЙЛОВА

Мой стих искал тебя...
Вяземский

Не гладкие четки, не писанный лик,
хватает на сердце зарубок.
Весь век свой под Богом ты был как бы бык.
Век краток. Бог крепок. Бык хрупок.

В шампанской стране меня слух поджидал.
Вот где диалог наш надломан:
то Вяземский вяжется, то Мандельштам,
то глупый «смерть-Реймс» палиндромон.

«Что ж делать — Бог лучших берет», — говорят.
Берет? Как письмо иль монету?
То сильный, то слабый, ты был мне как брат.
Бог милостив. Брата вот нету.

Девятый уж день по тебе я молчу,
молюсь, чтоб тебя не забыли,
светящейся Розе, цветному Лучу,
крутящейся солнечной Пыли.

12—18 сентября 1990
Эперне—Париж



Смутное время. Повесть временных тел.
Васнецов опознает бойцов по разбросанным шмоткам.
Глаз, этот орган мозга, последнее, что разглядел,
нацеленный клюв с присохшим кровавым ошметком.

Едет на белом коне Истребитель,
он базуку снимает с рамен.
Шороху он наведет в генетическом фонде.
Он поработал уже на восточном фронте.
Теперь на западном жди перемен.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ

Палаццо Те

Однажды кто-то из Гонзаг
построил в Мантуе палаццо,
чтоб с герцогиней баловаться
и просто так — как власти знак.

Художник был в расцвете сил,
умея много, много смея,
он в виде человекозмея
заказчика изобразил.

Весь в бирюзово-золотом,
прильнувши к герцогини устью,
с торжественностью и грустью
драконогерцог бьет хвостом.

Окрашивает корабли,
и небо, и прибой на чреслах
сок виноградников окрестных,
напоминающий сабли.

Что ей в туристе-дурачке?
Не отпускает эта фреска
мой взгляд, натянутый, как леска,
меня, как рыбу на крючке.

Равенна

Под австрийскими стенами крепости
реквием тростника
памяти старого ребусника,
пакостника, крепостника.
Далее — марево желтое,
море цвета гангрены

и довольно тяжелая
индустрия Равенны.

ЛЭПы, шоссе, ирригация,
газо- и нефтепровод.
Цивилизация-гадина
воет, гудит, ревет.
Словно мусор валяется
порт на краю равнины,
и турист растворяется
в толпах местной рванины.

Дар живописца, прозаика
в длинном движенье мазка.
Другое дело — мозаика,
к куску приставленье куска.
Бормотать что получится
на стекловидной фене —
вот чему учат мученицы
в Равенне —

*Евфимия, Пелагея, Екатерина, Агнесса,
Евлалия, Цецилия, Люция, Кристина,
Валерия*

плюс перед каждым именем
св., св., св., св., св., св...
Твердокаменным пламенем
светятся лики все,
на изумрудном облаке
ангел сидит здоровенный.
В византийском обмороке
мы расстаемся с Равенной.

Иския

Я помню, жил на свете человек,
пока не умер от туберкулеза,
который, помню, гордо заявлял
по пьянке, что он насекомоложец.
Имея инвалидность первой группы,

поймаю муху, крылья оторву,
с утра, когда соседи на работе,
наполню ванну, сяду, чтоб торчал
из пены признак моего еврейства,
и муху аккуратно посажу —
поползай, милая, не улетишь без крыльев!
Пуститься в плаванье? но океан горяч,
не доплывешь до белых берегов;
остаться здесь? но остров вулканичен
и близко, близко, близко извержение...
(Еще я помню, как-то раз в гостях
у всех пропала мелочь из пальто;
он был оставлен в сильном подозренье.)
А больше ничего о нем не помню.
Хотя я рылся в памяти три дня,
бродя по пляжу, сидя на балконе,
расфокусированный взгляд переводя
с Неаполя правее, на Везувий,
когда я в прошлый раз боялся смерти
и жил на Искии, курортном островке.

НА СМЕРТЬ Б. Ф. СЕМЕНОВА

Завернули в холсты,
и торчат из цветочной кучки
заострившиеся черты
остряка-самоучки.

Где ты там, отзовись,
петроградско-израильский житель,
старый ангел мой, атеист,
друг, читатель, хвалитель,

обучивший меня
по пивным козырять, раскошелясь,
выше звуков Моцарта цена
шорох, шарканье, шелест

по граниту подошв,
пузырей в толстокружечной пене,
макинтошей и кепок о дождь,
невских волн о ступени,

в сорок пятом небес
о цветные салютные залпы,
как бы ты не сказал и как без
тебя я не сказал бы.

Пусть кладбищенский счет
в шекелях шелестит по холстине,
потому что чему же еще
шелестеть в Палестине?

НЕТ

Вы русский? Нет, я вирус СПИДа,
как чашка жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях.

Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.

Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —
запруда, мельница, проселок...
а что там дальше, знает Бог.

СОНАТИНА БЕЗУМИЯ

1. *Allegro*: Ленинград, 1952

Иван Петрович спал как бревно.
Бодрый встал поутру.
Во сне он видел вшей и говно,
что, как известно, к добру.
Он крепко щеткой надраил резцы.
В жестянке встряхнул порошок.
Он приложил к порезам квасцы,
т. е. кровянку прижег.
Он шмякнул на сковородку шпек,
откинув со лба вихор.
«Русский с китайцем братья навек», —
заверил его хор.
Иван Петрович подпел: «Много в ней
лесов, полей и рек».
Он в зеркале зубы подстриг ровней
и сделал рукой кукарек.
Он в трамвае всем показал проездной
и пропуск вохре в проходной.
Он вспомнил, что в отпуск поедет весной
и заедет к одной.
Браковщица Нина сказала: «Привет!»
Подсобница Лина: «Салют!»
Низмаев буркнул: «Зайдешь в обед».
Иван сказал: «Зер гут».
И пошел станок длинный день длить,
резец вгрызаться в металл.
Иван только раз выбегал отлить
и в небе буквы читал.
Из-за разросшегося куста
не все было видно ему:
ПОД ЗНАМЕНОМ ЛЕ
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТА
ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОММУ

2. *Andante*: New York, 1992

Оборванец, страдающий манией
ощущения себя страной,
растянувшейся между Германией
и Великой Китайской Стеной.
Неба синь — у него под глазами,
чернозем — у него под ногтями,
непогодой черты его стерты,
пухнет брань на его языке;
понукаемый голосами,
он чего-то копает горстями,
строит дамбу в устье аорты,
и граница его на замке!

3. *Allegretto*: Шантеклер

Портынку в рот, коленкой в пах, сапог на харю.
Но, чтобы сразу не подох, недодушили.
На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь.
Содрали брюки и белье, запетушили.

Бог смял меня и вновь слепил в иную особь.
Огнеопасное перо из пор поперло.
Железным клювом я склевал людскую россыпь.
Единый мелос торжества раздул мне горло.

Се аз реку: кукареку. Мой красный гребень
распространяет холод льда, жар солнцепека.
Я певень Страшного Суда. Я юн и древен.
Один мой глаз глядит на вас, другой — на Бога.

ИЗ БЛОКА

1

...А в избе собрались короли.

Выпиватель водки. Несъедатель ни крошки.
Отрепьем брюк подметатель панелей.
Он прежде жил у старушки в сторожке
в оледенелой стране оленей.

Он одышлив. Щеки его толстомясы.
Но, когда ему водка слепит ресницы,
голубые песцы, золотые лисицы
перебирают в небе алмазы.

2

...У сонной вечности в руках.

.....*

3

...Черную розу в бокале...

Очи черные, ночи белые, вполнакала
электричество, речи вздорные, полбокала
недопитого бледно-желтого, как знак вопроса —
черенок в пузырьках — поникшая черная роза.

Я пьяней вина, пьяней вина, пьяней водки.
Очи черные, ноги голые идиотки-
красотки, повизгивающий цыганский голос,
широкошуршащий, как санный полоз.

То во мгле игла, во мгле игла чешет пластинку.
Кошка черная вылизывает каждую шерстинку
черную, во мраке мурлычет мурлыка,
как Блок не вяжущий лыка.

* См. «Итальянские стихи» (2).

Скатерть белая, вином залитая,
а заря за окном — золотая.
Где там мой стакан недопитый?
На душе океан ледовитый.

4

Отвяжись ты, шелудивый...

Записки фокстерьера о хозяйке:
однажды на прогулке сполз чулок,
роняла крошки, если ела сайки,
была строга, а он служил чем мог.
Вся правда исподнизу без утайки,
вот только псиной отдаёт чуток.

Собачья старость. Пожелтели зубки,
и глазки затянула пелена,
и ноздри позабыли запах юбки,
и ушки шорох узкого сукна.
Звенит звонок, и в колбочку по трубке
стекает безусловная слюна.

Над памятью, как над любимой костью,
он трудится, самозабвенно тих,
он на чужих рычит с привычной злостью
и молча сзади цапает своих,
скулит, когда наказывают тростью,
и лижет руки бью... Да сколько их!

Собачий мир, залиvistый виварий.
Клац-клац чемпионат по ловле блох.
У-у-у-у-у-у подлунных арий.
Трагический и тенорковый Блок.
И вот, Иван Петрович бедных тварей,
в халате белоснежном входит Бог.

*Он в халате белоснежном,
в белом розовом венце,
с выраженьем безнадежным
на невидимом лице.*

Так вот кровавит себе ветеран
рот выстрелом острым и быстрым.
Так музицируют по вечерам
фрейдо-марксисты — трам-тарарам, —
склонные к самоубийствам.

Трубы дубов зеленели в лесах,
флейты посвистывал зяблик,
грома литавры — трах-тарарах, —
но уж несется на всех вирусах
в Гамбург испанский кораблик.

С ядом в крови и сухоткой во рту
так музицируют немцы,
будто подводят под чем-то черту.
Третьи уж сутки пылают в порту
красный флажок инфлуэнцы.

Заперт корабль в карантинную клеть.
Некому требовать карго.
А в заводи медь пойдет зеленеть,
краска лупиться, железо ржаветь
и холодеть кочегарка.

С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ
(15 июня 1925 года)

...и мимо базара, где вниз головой
из рук у татар
выскальзывал бьющийся, мокрый, живой,
блестящий товар.

Тяжелая рыба лежала, дыша,
и грек, сухожил,
мгновенным, блестящим движеньем ножа
ее потрошил.

И день разгорался с грехом пополам,
и стал он палящ.
Курортная шатия белых панам
тащилась на пляж.

И первый уже пузырился и зрел
в жиру чебурек,
и первый уже с вождельнем смотрел
на жир человек.

Потом она долго сидела одна
в приемной врача.
И кожа дивана была холодна,
ее — горяча,

клеенка — блестяща, боль — тонко-остра,
мгновенен — туман.
Был врач из евреев, из русских сестра.
Толпа из армян,

из турок, фотографов, нэпманш-мамаш,
папашек, шпаны.
Загар бронзовел из рубашек-апаш,
белели штаны.

Толкали, глазели, хватали рукой,
орали: «Постой!

Эй, девушка, слушай, красивый такой,
такой молодой!»

Толчками из памяти нехотя, но
день вышел, тяжел,
и в Черное море на черное дно
без всплеска ушел.

Как вата, склубилась вечерняя мгла
и сдвинулась с гор,
но тонко закатная кровь протекла
струей на Босфор,

на хищную Яффу, на дымный Пирей,
на злачный Марсель.
Блестящих созвездий и мокрых морей
неслась карусель.

На гнутом дельфине — с волны на волну —
сквозь мрак и луну,
невидимый мальчик дул в раковину,
дул в раковину.

ИЗ КНИГИ

«Послесловие»

19 **98**



Коринфских колонн Петербурга
прически размякли от щелока,
сплетаются с дымным, дремотным,
длинным, косым дождем.
Как под ножом хирурга
от ошибки анестезиолога,
под капитальным ремонтом
умирает дом.

Русского неба буренка
опять ни мычит, ни телится,
но красным-красны и массовы
праздники большевиков.
Идет на парад оборонка.
Грохочут братья камазовы
и по-за ними стелется
выхлопной смердяков.



За голландские гульден-деньги покажет нам ван ден Энге,
как долго, почти полдня,
разглаживал ветер ленивые складки флага.
Из четырех стихий он не любил огня,
был равнодушен к земле. Но воздух зато! но влага!

А вечер на рейде на флейте играет сигнал тишины.
По берегу шляется списанный на берег пьяница-дождик.
Лоскутная азбука пестрых флажков: «Сожжены
корабли, в непрозрачную землю зарыт художник».



Где воздух «розоват от черепицы»,
где львы крылаты, между тем как птицы
предпочитают по брусчатке пьянцы,
как немцы иль японцы выступать,
где кошки могут плавать, стены плакать,
где солнце, золота с утра наляпать
успев и окунув в лагуну локоть
луча, решает, что пора купать, —
ты там застрял, остался, растворился,
перед кофейней в кресле развалился
и затянулся, замер, раздвоился,
уплыл колечком дыма, и — вообще
поди поймай, когда ты там повсюду —
то звонко тронешь чайную посуду
церквей, то ветром пробежишь по саду,
невозвращенец, человек в плаще,
зека в побеге, выход в зазеркалье
нашел — пускай хватаются за кольца, —
исчез на перекрестке параллелей,
не оставляя на воде следа,
там обернулся ты буксиром утлым,
туч перламутром над каналом мутным,
кофейным запахом воскресным утром,
где воскресенье завтра и всегда.



Инициалы — Л. Г. (Л. К.),
крылья сложив на манер мотылька,
чуть вздрагивают, легки,
на левом плече строки.

Название (скажем, «Кафе Триест»)
рассеянным взглядом глядит окрест
и видит черную печку, бар,
фото на стенках, пар

от кофеварки. Как некий тиран,
стихотворение по вечерам
сюда приходит и стул берет,
и крепкий свой кофе пьет.

И жидкость черная горяча,
и вспархивают с его плеча
инициалы Л. К. (Л. Г.)
и летят налегке

над электронной долиной теней.
Их тени — незримы, его — длинней
долины. Они улетают прочь,
и наступает ночь.



Нине

А в Псковской области резвятся сеголетки.
Мертв тот, кто птичку выпускал из клетки.
Но семян пушинки тополей
нечернозем полей.

Он на лошадке цвета шоколадки
катался без дорог,
и цоканье копыт его лошадки
отцеживалось в местный говорок.

Одна из необъединенных наций,
дождь третий день висит, как полицаи,
и если кто у них горацей,
так только цай.

Одна из наций, вдрызг разъединенных,
не ведавших об оденах и доннах,
не зван, но он
звучит, когда душа отглаголала,
отлитый из латинского металла
в долине звон.



Научился писать что твой Случевский.
Печатаюсь в умирающих толстых журналах.
(Декадентство экое, александрийство!
Такое бы мог сочинить Кавафис,
а перевел бы покойный Шмаков,
а потом бы поправил покойный Иосиф.)
Да и сам растолстел что твой Апухтин,
до дивана не доберусь без одышки,
пью вместо чая настой ромашки,
недочитанные бросаю книжки,
на лице забыто вроде усмешки.
И когда кулаком стучат ко мне в двери,
когда орут: у ворот сарматы!
оджибуэи! лезгины! гои! —
говорю: оставьте меня в покое.
Удаляюсь во внутренние покои,
прохладные сумрачные палаты.

ТАЙНЫЙ ОТЕЛЬ: ПРИГЛАШЕНИЕ

Евгению Рейну, с любовью

Ночью с улицы в галстуке, шляпе, плаще.

На кровати в гостинице навзничь —

галстук, шляпа, ботинки.

В ожиданье условного стука, звонка и вообще
от блондинки, брюнетки... нет, только блондинки.

Все внушает тревогу, подозрение, жуть —

телефон, занавеска оконная, ручка дверная.

Все равно нет иного черно-белого рая,

и, конечно, удастся туда убежать, ускользнуть, улизнуть.

Шевелящимся конусом света экран полоща,

увернемся, обманем погоню, с подножки соскочим

под прикрытием галстука, шляпы, плаща,

под ритмичные всплески неона в стакане со скотчем.

Дома дым коромыслом — комоды менты потрошат,

мемуарная сволочь шипит друг на дружку: не трогай!

Тихо в тайном отеле, только тонкие стены дрожат

от соседства с подземкой, надземкой, железной дорогой.

АРХИПЕЛАГ

Янгфельдтам

Дабы лазурь перекрещивал кадмий,
ветер гуляет стервец стервцом,
свет облакам выделяя — блокадный
тусклый урезанный рацион.

Все мы собою в таком околке
изображаем смешную беду
подлой — нет бедной! — советской подлодки,
в шхерах застрявшей у всех на виду.

Что ж, с днем рождения! — примем лекарство
горького шнапса — на миг исцелит,
ибо вокруг нас — небесное царство,
хвойная память, вечный гранит.

Берег с морщиной, прорезанной льдиной,
так и застыл со времен ледника,
сплошь обрастая мхом, как щетиной
мертвая обрастает щека.

*24 мая 1997
Стокгольм*

4, RUE REGNARD

V. S.

Здрате стены, впитавшие стоны страсти,
кашель, русское «бля» из прокуренной пасти!
Посидим рядком
с этим милым жильем, года два неметенным,
где все кажется сглаженным монотонным
тяжким голосом Музы, как многотонным
паровым катком.

Человек, поживший в такой квартире,
из нее выходит на все четыре,
не глядит назад,
но потом сворачивает налево,
поелику велела одна королева,
в Люксембургский сад.

А пока в Одеоне Пьерро с Труффальдино
чепушат, запыленная зеркала льдина
отражает сблизити
круглобокий диван,— приподнявшись на ластах,
он чего-то вычитывает в щелястых
жалюзи.

Здрате строфы ставень, сведенные вместе,
параллельная светопись с солнцем в подтексте,
в ней пылинок дрожь.
Как им вольно вращаться, взлетать, кувыраться!
Но потом начинает смеркаться, смеркаться,
и уже не прочтешь.

РИМСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Три пчелы всё не вытащат ног из щита Барберини,
или, как срифмовал бы ты: в Риме бери не
хочу вечных символов, эмблем, аллегорий и др.
В вечной памяти нет прорех, пробелов и дыр.

Оседлал облака, что приснятся тебе и Ламарку,
император, себя воплотивший в коренастую арку,
Тит, который ходил молотить наших пращуров в Иудее.
С раскоряченным всадником сходны мраморные затеи.

Так на облачном белом коне триумфатор въезжает
на Форум,
чтобы сняться с туристами. А другой император,
с которым
у тебя больше общего, в окруженье пятнистого дога,
утешает нас тем, что жизнь не имеет итога.

Это я просто так, чтобы время убить, для порядку.
Вот невзрачная бабочка совершает промашку
и мешает писать, совершая посадку на эту тетрадку,
принимая ее за большую ромашку.

PIETÀ

Мертвый мрамор,
обвисший с отверделых
от горя мраморных колен.

Мраморный зрачок
не реагирует на свет, но вспышка
за вспышкой всё продолжают пробовать — а вдруг! —
японцы, немцы...

СОН О ЮНОСТИ

Л. Виноградову

Вдруг в Уфлянд сна вбегают серый волф.
Он воет джаз в пластмассовый футлярчик,
яйцо с иголкой прячет в ларчик
и наизусть читает Блока «Цвёльф».

Я в этом сне бездомным псом скулле,
но юра нет, а есть лишь снег с водою,
и я под ужас джаза вою,
вовсю слезу володя по скуле.

Тут юности готический пейзаж,
где Рейн ярится и клубится Штейнберг,
картинкой падает в учебник
«Родная речь» для миш, серёж, наташ,

вить, рит (рид) и др., чей цвет волос соломен...
Но в лампе сна всегда нехваттка ватт.
Свет юности непрост, ерёмен
и темноват.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С САХАЛИНА

Мне 22. Сугроб до крыши.
«Рагу с козлятины» в меню.
Рабкор, страдающий от грыжи,
забывший застегнуть мотню,
ко мне стучит сто раз на дню.

Он говорит: «На Мехзаводе
станки захламили хоздвор.
Станки нуждаются в заботе.
Здесь нужен крупный разговор».
Он — раб. В глазах его укор.

Потом придет фиксатый Вова
с бутылью «Спирта питьевого»,
срок за убийство, щас — прораб.
Ему не хочется про баб,
он все твердит: «Я — раб, ты — раб».

Зек философствует, у зека
сверкает зуб, слезится веко.
Мотает лысой головой —
спирт душу жжет, хоть питьевой.
Слова напоминают вой.

И этот вой, и вой турбинный
перекрывали выкрик «Стой!
Кто идет?», когда мы с Ниной,
забившись в ТУ полупустой,
повисли над одной шестой.

Хоздвор Евразии. Текучки
мазутных рек и лысых льдов.
То там, то сям примерзли кучки
индустриальных городов.
Колючка в несколько рядов.

О, как мы дивно удирали!
Как удалялись Норд и Ост!
Мороз потрескивал в дюрале.
Пушился сзади белый хвост.
Свобода. Холод. Близость звезд.

ПАМЯТИ МИХАИЛА КРАСИЛЬНИКОВА

Песок балтийских дюн, отмытый добела,
еще хранит твой след, немного косолапый.
Усталая душа! спасибо, что была,
подай оттуда знак — блесни, дождем покапай.

Ну, как там, в будущем, дружище-футурист,
в конце женитьб и служб, и пересыльных тюрем?
Давай там встретимся — ты только повторись.
Я тоже повторюсь. Мы выпьем. Мы покурим.

Ведь твой прохладный рай на Латвию похож,
еще янтарней за закатными лучами.
Там, руки за спину, ты в облаке бредешь,
привратник вслед бредет и брякает ключами.

НОРВИЧ, 1987—1997

Жертва козней собеса, маразма, невроза,
в сальном ватнике цвета «пыльная роза»,
с рюкзаком за спиной, полным грязного хлама,
в знойный полдень проходит под окном моим дама.
Так задумчиво, что и жара ей не в тягость.

Десять лет (т. е. лет — с июня по август)
после утренних лекций под окном ровно в полдень
наблюдал я цветочек этот Господень.
Будь я Зощенкой, Шварцем или Олешей,
я б сумел прочитать в этой всаднице пешей,
в этом ангеле, бледном от серого пота,
сладкозвучный оракул: «Нищета есть свобода».

Только где те писатели? где тот оракул?
где то чтение знаков? где тот кот, что наплакал
веры? Нету. Писатели тихо скончались.
Вместе с ними религия, психоанализ,
символизм и вермонтская летняя школа.
Лишь осталась картина, на манер протокола —
занесенная в память: «Я и старая дама».

Обрамляет картину белая рама
от упавшего в прошлое чужого окна.

И другая картина пока не видна.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Из книги «Чудесный десант»	
Последний роман	9
Рота зрота	10
Разговор с ньюйоркским поэтом	11
Нелетная погода	12
М	13
Валерик	15
«Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед...»	17
Памяти Москвы	18
Памяти Пскова	19
«Понимаю — ярмо, голодуха...»	20
Чудесный десант	21
Продленный день и другие воспоминания о холодной погоде	23
Подписи к виденным в детстве картинкам	29
«Лучок нарезан колесом...»	32
Путешествие	33
Тринадцать русских	39
Бахтин в Саранске	40
Слегка заплетаясь	42
Ткань (<i>докторская диссертация</i>)	43
Выписки из русской поэзии	45
Стихи о романе	50
ПБГ	54
Пушкинские места	56
Классическое	57
Документальное	58
Инструкция рисовальщику гербов	59
Москвичи	60
На Рождество	62
«И наконец остановка “Кладбище”...»	63
«Все пряжи рассучились...»	64
Песня	65
Местоимения	66
Урок фотографии	67
Ночь	68

Из книги «Тайный советник»

Посвящение	71
«Се возвращается блудливый сукин сын...»	72
ПВО	74
Городской пейзаж	76
Венеция	77
Рассказ композитора И. Койзырева о вселении в новую квартиру	80
Тайный советник (по Соловьеву)	81
Сонет	83
Памяти поэта	84
«Сожжено и раздвинуто»	87
3 рубля (случай в Москве)	89
Икона	91
«Жизнь подносила огромные дули...»	92
«Поэт есть перегной, в нем мертвые слова...»	93
Полемика	94
Левлосев	95
Двенадцать коллегий (Элегия в трех частях)	96
Слова для романа «Слова»	99
Изба	100
Туалет	101
Печка	102
1945	104
Ода на 1937 год	106
«Что было стекл зеленоватых...»	110
«Извини, что украла», — говорю я воровке...»	111
Natürlich	112
«Свечи. Светлый хор глубинный...»	113
Апрель 1950	114

Из книги «Новые сведения о Карле и Кларе»

Новые сведения о Карле и Кларе	117
Сонет в самолете	118
XVIII век	119
«Или еще такой сюжет...»	120
Сердцебиение	121
Подражание	122
Парижская нота	123
Из Марка Стрэнда	124
Джентрификация	126
Записки театрала	127
30 января 1956 года (у Пастернака)	129

Иосиф Бродский, или ода на 1957 год	130
Вариации для Бояна	132
Забытые деревни	133
Высоцкий поет оттуда	134
Bushmills	135
Пес	136
«Воскресенье. Тепло. Кисея занавески полна...»	137
Юбилейное	138
В альбом О.	139
Брайтон-Бич	140
Песня десантного полка	142
Без названия	143
На смерть Ю. Л. Михайлова	144
«Смутное время. Повесть временных тел...»	145
Итальянские стихи	146
На смерть Б. Ф. Семенова	149
Нет	150
Париж, 1941	151
Сонатина безумия	152
Из Блока	154
1919—1994	156
С грехом пополам (15 июня 1925 года)	157

Из книги «Послесловие»

«Коринфских колонн Петербурга...»	161
«За голландские гильдены-деньги...»	162
«Где воздух “розоват от черепицы”...»	163
«Инициалы — Л. Г. (Л. К.?)...»	164
«А в Псковской области режутся сеголетки...»	165
«Научился писать что твой Случевский...»	166
Тайный отель: приглашение	167
Архипелаг	168
4, rue Regnard	169
Римский полдень	170
Pietà	171
Сон о юности	172
Возращение с Сахалина	173
Памяти Михаила Красильникова	175
Железо, трава	176
Норвич, 1987—1997	177
25 декабря 1997 года	178

**В серии книг «Зеркало», издаваемых
«Пушкинским фондом», вышли следующие тома:**

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGEREP
- **И. Бродский.** Горбунов и Горчаков
- **Л. Петрушевская.** «Карамзин» (деревенский дневник)

**В серии «Имя собственное»
выпущены книги:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни

**«Пушкинский фонд» предлагает читателям
также следующие книги:**

- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Еременко.** Горизонтальная страна

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

**В поэтической серии «Автограф», издаваемой
«Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:**

- 1. **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- 2. **В. Салимон.** Невеселое солнце
- 3. **И. Лиснянская.** После всего
- 4. **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- 5. **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- 6. **Н. Кононов.** Лепет
- 7. **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- 8. **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- 9. **С. Гандлевский.** Праздник
- 10. **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- 11. **В. Дроздов.** Стихотворения
- 12. **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- 13. **А. Цветков.** Стихотворения
- 14. **Д. Новиков.** Караоке
- 15. **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- 16. **Т. Кибилов.** Парафразис
- 17. **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- 18. **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- 19. **В. Салимон.** Красная Москва
- 20. **В. Зельченко.** Войско
- 21. **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- 22. **А. Битов.** В четверг после дождя
- 23. **Л. Лосев.** Послесловие
- 24. **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- 25. **В. Гандельсман.** Долгота дня
- 26. **Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- 27. **Т. Кибилов.** Интимная лирика
- 28. **В. Павлова.** Второй язык
- 29. **В. Кривулин.** Купание в иордани
- 30. **М. Ерёмин.** Стихотворения
- 31. **С. Кекова.** Короткие письма
- 32. **Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- 33. **Д. Новиков.** Самопал
- 34. **Т. Кибилов.** Нотации
- 35. **В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

Л 79

Лосев Л.

Стихотворения из четырех книг. — СПб.: «Пушкинский фонд»,
1999. — 184 с.

ISBN 5—89803—031—X

ББК 84. Р7

Лосев Лев Владимирович

Стихотворения из четырех книг

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1999

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071 541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 15.10.99 г. Формат 60x90^{1/16}. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,5. Заказ № 769.

multiprint
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

«Полиграфический центр «MULTIPRINT»

190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6. Тел./факс 812 315 33 10

